

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

МЕЛЬНИЧУК Виктория Александровна

Аксиологическая динамика русской лексики

(конец XVIII – начало XXI в.)

Специальность 10.02.01 – Русский язык

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Научный руководитель:

доктор филологических наук,

профессор Л. В. Зубова

Санкт-Петербург

2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Глава 1.Аксиология в современных лингвистических исследованиях	8
1.1. Аксиология и современные лингвистические исследования	8
1.2. Ценности и оценка в философии, логике и языке: определения и классификации	12
1.2.1. Ценности как отправная точка для изучения оценки.....	12
1.2.2. Оценка как средство экспликации ценностей.....	17
1.2.3. Шкала как способ представления ценностей и оценок.....	21
1.2.4.Средства и способы выражения оценки в языке и речи.....	24
1.2.4. Оценочный компонент лексического значения	32
1.2.5. Проблема лексикографического описания оценки.....	36
1.2.6. Оценка в интерпретации антропоцентрической лингвистики	42
1.3. Выводы	43
Глава 2. Языковая картина мира и поиск подхода к описанию динамики русской языковой аксиологии	46
2.1. Исследование аксиологической динамики в рамках языковой картины мира	46
2.2. История понятий как метод описания аксиологической динамики	55
2.3. История лексики русского языка в зеркале аксиологической динамики. 57	
2.3.1. История лексики русского языка XVIII в.....	60
2.3.2. История лексики в пушкинское время (20 – 30 гг. XIX в.)	62
2.3.3. История лексики в 40 – 70 гг. XIX в.	66
2.3.4. Лексическая система русского языка и ценности советской эпохи ...	67
2.3.5. Лексика русского языка в зеркале современных ценностей	72
2.3.6. Современный этап развития лексики.....	74
2.4.Внеязыковые причины и внутриязыковые механизмы изменений оценочной характеристики слова	77
2.5. Выводы	84

Глава 3. Аксиологическая динамика русской лексики на примере конкретных слов	86
3.1. Выбор способа описания материала	86
3.2. Аксиологические изменения слов-компонентов с оценочным элементом.88	
3.2.1. Благоверный.....	90
3.2.2. Благодетель.....	104
3.2.3. Доброжелатель.....	119
3.3. Чреватый	137
3.4. Прелесть	151
3.5. Домогательство	168
3.6. Мзда	178
Заключение	189
Список сокращений	191
Список источников	192
Список использованных словарей.....	193
Список использованной литературы.....	195

ВВЕДЕНИЕ

Диссертационное исследование посвящено языковому отражению аксиологии в ее динамическом аспекте. Под аксиологической динамикой мы понимаем изменение оценки слова с учетом внеязыковых и внутриязыковых факторов. Таким образом, сущность аксиологической динамики состоит в изменении безоценочной лексики на положительно или отрицательно оценочную, а также в постепенной замене какой-либо оценки на противоположную. Этот процесс коснулся, например, таких лексических единиц, как *тварь*, *пошлый*, *заразительный*, *клевет*, *амбициозный*. При раскрытии заявленной темы возможны две противоположной стратегии: широкий охват материала или углубленный анализ отдельных языковых единиц. Мы предпочитаем подробный анализ отдельных слов широте охвата материала.

Оценка с давних времен находится в сфере внимания философии (Аристотель, Т. Гоббс, Б. Спиноза, И. Кант, Г. Риккерт), логики (А. А.Ивин), психологии (Ю. М. Забродин, Б. Ф. Ломов, Ч. Осгуд).

В лингвистике оценка привлекала внимание таких исследователей, как Н. Д. Арутюнова, Е. М. Вольф, Д. Н. Шмелев, Ю. Д. Апресян, В. И. Карасик, Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев, И. Б. Левонтина и др. Динамический аспект языковой аксиологии при этом затрагивался фрагментарно и не был специальным предметом лингво-исторического анализа. Наша работа тоже не может претендовать на полноту охвата такой лексики в ее динамике, однако мы постарались сосредоточить свое внимание именно на изменениях оценочного компонента лексики.

Объект нашего исследования – процесс семантических преобразований, связанных с появлением или изменением оценочного компонента в значении слов.

Предмет исследования – аксиологическая лексика, отраженная текстами начиная с последней трети XVIII в. до нашего времени. Для анализа

было выбрано 7 слов с их производными: *благоверный, доброжелатель, благодетель, чреватый, прелесть, домогательство, мзда*.

Гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что аксиологическая динамика находится в тесной зависимости от циклических процессов развития лексики. При этом обязательным этапом, отражающим аксиологическую динамику, является фаза аксиологической двойственности – оценочная энантиосемия, при которой отрицательная и положительная оценка в слове сосуществует, их разграничение возможно только в контексте. Оценочная энантиосемия представляет собой продуктивный источник эвфемизации.

Цель работы – описать и проанализировать причины и механизм изменения оценки, свойственной указанным лексическим единицам.

Поставленная цель определила следующие **задачи исследования**:

1. Выбрать из множества слов, имеющих оценочное значение в современном русском языке, такие, которые отразили аксиологические изменения в хронологически различных контекстах и которые почти не рассматривались в лингвистике.

2. Осуществить целенаправленную выборку языкового материала из толковых, а также исторических словарей, Национального корпуса русского языка, блогов и форумов интернета

3. Проанализировать динамику аксиологических представлений у носителей русского языка.

4. Исследовать причины и механизм изменений оценочной лексики.

5. Показать роль энантиосемии в аксиологических изменениях лексики.

Для решения поставленных задач применялись **метод** истории понятий, метод словарных дефиниций, описательный и аналитический **методы** с частичным использованием количественных характеристик словоупотребления в контекстах.

Материалом исследования послужили данные исторических и толковых словарей, контексты, извлеченные из Национального корпуса

русского языка, блогов и форумов интернета. В ряде случаев мы обращались к полному тексту произведения, чтобы получить более точное представление об исследуемом слове. В ходе работы было рассмотрено 7497 контекстов из Национального корпуса русского языка: 209 – на слово *благоверный*, 144 – на слово *доброжелатель*, 1037 – на слово *благодетель*, 66 – на слово *чреватый*, 5173 – на слово *прелесть*, 50 – на слово *домогательство*, 76 – на слово *мзда*, 11 – на слово *мздовоздаяние*, 731 – на слово *возмездие*.

Мы уделяли особое внимание поиску контекстов, содержащих метаязыковую рефлексию, поскольку нередко такие контексты отражают не только субъективное отношение говорящего (что уже само по себе важно при исследовании аксиологии), но и происходящие либо наметившиеся аксиологические сдвиги. Как своеобразную семантическую перспективу мы рассматривали также словоупотребление в поэтических текстах.

Актуальность исследования определяется его антропологической направленностью, характерной для современного этапа развития лингвистики. Кроме того, порождая оценочные высказывания, человек сталкивается с потребностью различать смысловые оттенки лексических единиц в условиях нестабильности ценностных ориентиров, обусловленных исторически и социально.

Научная новизна работы заключается:

1. в установлении причин и механизмов аксиологических изменений при интерпретации конкретных семантических процессов;
2. в анализе аксиологической динамики ряда слов, которые не были предметом специального исследования в этом аспекте;
3. в привлечении нового языкового материала.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что оно вносит вклад в историко-лингвистическое изучение семантики лексических единиц с учетом социальных факторов.

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы исследования могут быть использованы в содержании курсов по

лексикологии, лингвокультурологии, стилистике русского языка, в спецкурсах по лексической семантике, в учебниках и учебных пособиях по названным дисциплинам, а также при составлении словарей.

Апробация работы. Основные идеи, положения и результаты настоящего исследования были представлены в докладах на следующих научных и практических конференциях: XLV Международная филологическая конференция (СПб., СПбГУ, 2016), Международный молодежный научный форум «Ломоносов – 2016» (Москва, МГУ, 2016), IV Международная научная конференция «Стилистика сегодня и завтра» (Москва, МГУ, 2016), Международная конференция молодых филологов (Тарту, 2016), Международная научно-практическая конференция «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XVII Кирилло-Мефодиевские чтения» (Москва, 2016), Международная научная конференция *Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna* (Ольштын, 2016), XIV Международная конференция «Абсурд в языке и коммуникации» (Москва, РГГУ, 2016). По теме диссертации опубликовано 9 работ, из них 3 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Структура работы включает Введение, три главы, Заключение, список сокращений, библиографию источников и библиографию научной литературы.

ГЛАВА 1.

АКСИОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Принцип антропоцентризма, утвердившийся в лингвистике (см. работы Ю. Н. Караулова, Н. Д. Арутюновой, В. Н. Телия, Е. С. Кубряковой, Анны А. Зализняк, А. Д. Шмелева и др.), привел к тесному взаимодействию различных отраслей гуманитарного знания, направленных на изучение окружающей действительности через субъект – человека: «Антропоцентризм как особый принцип исследования заключается в том, что научные объекты изучаются прежде всего по их роли для человека, по их назначению в его жизнедеятельности, по их функциям для развития человеческой личности и его усовершенствования» [Кубрякова 1995: 212]. Темы и проблемы, которые ранее представляли сферу интересов философии, логики, антропологии, культурологии и психологии, входят в исследовательское поле лингвистики. В свою очередь лингвистика предлагает другим гуманитарным дисциплинам результаты своих изысканий. Методы исследований также объединяются и дополняют друг друга.

В русле антропоцентрического поворота оформляется и взаимодействие лингвистики с аксиологией – наукой о ценностных отношениях человека к действительности, о его способности постигать ценностную структуру мира и воплощать ценности в разных видах человеческой деятельности [Мирошников 2007: 5]. Экспликация ценностей происходит через оценку, выражаемую единицами различных уровней языковой системы.

1.1. Аксиология и современные лингвистические исследования

Ценность и оценка являются центральными понятиями аксиологической проблематики в языке, составляя предмет интереса

аксиологической лингвистики, или лингвоаксиологии. Это сравнительно новое направление в языкознании, импульсом для развития которого послужили работы Н. Д. Арутюновой и Е. М. Вольф. Нам представляется, что современное многообразие лингвоаксиологических исследований можно систематизировать следующим образом:

- исследования, целью которых является непосредственное изучение оценки как категории в сопоставлении со смежными областями гуманитарного знания: философией, логикой, этикой, эстетикой гуманитарного знания: философией, логикой, этикой, эстетикой [Арутюнова 1984, 1988, 1999; Вольф 1985, Маркелова 1993];

- исследования общей теории языковой оценки, описывающие разновидности оценочных значений и способы их реализации [Арутюнова 1984, 1988, 1999; Вольф 1985; Ризунина 2014];

- изучение конкретных оценочных представлений в рамках этнолингвистики [Бартминьский 2005; Березович 2007; Толстой 1983, 1995];

- изучение фразеологии русского языка как квинтэссенции ценностных представлений и оценочного компонента в культурно-языковой семантике фразеологизма [Байрамова 2011; Ковшова 2013; Телия 1996];

- описания лингвокультурных типажей с ценностных позиций [Карасик 2005а; Серебренникова 2008];

- исследования оценок и моделирование оценочной структуры дискурса. Эти исследования чаще всего выполняются на материале медиа-политического дискурсов, так как именно эти типы обладают особым ценностным потенциалом воздействия [Марьянчик 2013; Сальникова 2014; Ретунская 1996; Симонян 2006];

- описание фрагментов русской языковой картины мира и национального менталитета как отражения ценностных ориентаций носителей языка [Зализняк Анна А., Левонтина, Шмелев 2005, 2012; Радбиль 2017; Левонтина 2016; Колесов 1993, 1999, 2006];

- лингвоаксиологический подход присутствует также в исследованиях, выполненных в русле истории понятий, и отражает динамическую природу ценностей [Живов 1996, 2009; Пеньковский 2004].

В настоящий момент лингвоаксиология достаточно динамично развивается и взаимодействует с другими лингвистическими направлениями, предлагая им как методологический аппарат (например, семиметрия ценностных смыслов – метод, заимствованный лингвоаксиологией из социологии [Серебренникова: 2008]), так и завершенные наблюдения о ценностях в языке.

Следует отметить, что формирование границ, методологии, терминологического аппарата лингвоаксиологии еще находится в фазе становления. Термины *аксиологическая проблематика, ценностный подход, аксиосфера, аксиологичность, аксиологическая горизонталь / вертикаль* связаны с аксиологией как разделом философии и еще не вполне закрепились в лингвистической литературе, используются непоследовательно. Не всегда однозначно употребляются термины *оценка – оценочность – ценность*, хотя изучение языковой оценки имеет и более продолжительную традицию. При этом различия между *оценкой* и *ценностью* описаны в лингвистической литературе: оценка референтна, так как соотносится с конкретной ситуацией, а ценность сигнификативна, так как выражает соотнесенность коллективного субъекта и определенного класса объектов через аксиологические категории [Сальникова 2014: 10 – 11; Чекулай 2006: 18].

Многие авторы, работы которых напрямую касаются ценностей и их отражения в языке, не используют в своих научных текстах термины с элементом *аксио* [Грановская 2005; Гусейнов 2004; Колесов 1999].

Оценочность как лингвистическая категория служит отражению картины мира человека, основываясь на речемыслительной операции оценки. Она тесно связана со сложившимися в языковом коллективе представлениями о ценности объекта и отличается социально-исторической обусловленностью. Человек во всей непредсказуемости его жизни, опыте

взаимодействия с обществом и окружающим миром оказывается одновременно и субъектом и объектом оценки, выражая «свое ценностное отношение к миру с помощью языкового фонда оценочных средств» [Маркелова 1993: 5].

Термины *оценка* и *оценочность* нередко употребляются как синонимы [Калимуллина 2004; Никифорова 2008; Грановская 2005; Зализняк Анна А., Левонтина, Шмелев 2005, 2012; Сергеева 1983 и др.]. Эта точка зрения наиболее близка и нам, однако существует и опыт разграничения оценки и оценочности.

Если оценку в общем можно определить как когнитивное действие, направленное на приписывание, выделение отрицательных или положительных свойств предмета, то есть на определение его ценности для субъекта, то оценочность – это свойство языковой единицы. «Оценочность – потенциал слова или словосочетания, их способность эксплицитировать положительные и отрицательные свойства объекта, его фиксацию на оценочной шкале, его место в аксиологическом поле» [Марьянчик 2005: 7]. И. А. Стернин выделяет коммуникативную оценочность как фактор коммуникативного поведения, который включает в себя «стремление к вербальной оценке ситуаций и лиц; степень категоричности высказываемых оценок; допустимость негативных оценок в разговоре; доля позитивных оценок в разговоре; степень оценочности повседневного общения; степень оценочности официального общения» [Стернин 2003: 11]. Следовательно, термином *оценочность* может обозначаться и *насыщенность* оценками того или иного коммуникативного пространства.

В. В. Лопатин выделяет узкое понимание оценки (характеристика предметов, признаков, фактов, ситуаций по признаку «хорошо – плохо») и широкое, при котором в сферу оценочности попадают характеристики «истинно – ложно», «важно – неважно». «Под оценочными (квалификативными) мы понимаем такие компоненты языка, которые, накладываясь на денотативное, или референтное, или пропозициональное ...

содержание высказываний, корректируют его с позиций субъекта речи» [Лопатин 2007: 536 – 537]. Эта позиция, очевидно, коррелирует с классификацией Н. Д. Арутюновой, основанной на различении обще- и частнооценочных значений.

Сложное взаимодействие ценностей и оценок в пространстве текста отражается через функциональную семантико-стилистическую категорию *аксиологичности*, которая определяется как «способность воспроизводить, моделировать, корректировать и создавать ценности / антиценности языковой картины мира автора / адресата текста» [Марьянчик 2013: 248].

В целом, стремительное развитие и взаимодействие лингвоаксиологии с другими направлениями лингвистической мысли определяется интересом к категории ценности, эксплицируемой в языке, и вопросом о её соотношении с оценкой. Востребованность лингвоаксиологического подхода приводит к его терминологической насыщенности, что может затруднять восприятие и интерпретацию отдельных положений.

1.2. Ценности и оценка в философии, логике и языке: определения и классификации

1.2.1. Ценности как отправная точка для изучения оценки

Определение понятия *ценности* и описание круга проблем, связанных с исследованием ценностных представлений, изначально рассматривались в философии. При этом понятие ценности трактовалось «несистематически и крайне эмпирически» [Ивин 2006: 8]. Одним из широко принятых толкований является определение категории ценности через *значимость*: «ценность – это положительная или отрицательная значимость экстралингвистического факта (предмета, процесса, события, идеи, чувства, ощущения и т.п.) для конкретного человека, социальной группы или народа <...>¹ Возведение

¹ <...> – наша купюра при цитировании – В. М.

предметов и явлений внешнего мира в ранг признаваемых ценностей происходит через *оценку*» [Сальникова 2014: 4]. Но существует и мнение о том, что *ценность* и *значимость* не синонимичны; понятие значимости шире, чем ценность, так как «значимое отношение более универсальное» [Найдыш 1992: 80].

Философско-историческая перспектива изучения ценностей подробно раскрыта в работах отдельных исследователей [Арутюнова 1988; Вольф 1985; Каган 1997; Марьянчик 2013; Маркелова 1993].

Спор о природе и месте ценностей имеет давнюю историю, изначально базирующуюся на противоположных подходах: 1. Все ценности подчинены человеку (Протагор, «человек есть мера всех вещей»); 2. Человек подчинен ценностям (Платон). Осмысление природы ценностей привело исследователей к выводу об их безусловной природе, в соответствии с которой ценности воспринимаются как форма духовного мира, не подлежащая сомнению. Однако ценности недоступны непосредственному наблюдению, и для их объяснения необходимо обращение к смежным явлениям [Марьянчик 2013: 13 – 16]. Таким образом, возникает проблема выделения ценности, одним из способов разрешения которой становится определение дифференциальных признаков ценности. Перечень таких признаков может варьироваться в связи с задачами и объемом исследования. Пример одного из таких перечней приводит В. А. Марьянчик:

- принадлежность одной ценности всем субъектам (в разной степени);
- системность;
- истоки и следы ценности в социальных феноменах;
- релятивный характер (вариативность для разных личностей и разных социумов);
- социальный, коллективный характер;
- иерархичность;
- стабильность и динамичность;
- когнитивные, мотивные и волевые характеристики;

- возможность сосуществования противоположных ценностей [Марьянчик 2013: 22]. Мы считаем, что определить объективное наличие того или иного признака из этого перечня представляет такую же сложную, хотя и менее многоступенчатую задачу, как и выявление ценности. Кроме того, трудно сказать, насколько подобные перечни дифференциальных признаков подходят для диахронического исследования ценностей.

Вопрос о классификации и типологии ценностей также разрешается неоднозначно, поскольку систематизация может проводиться на разных основаниях. Например, В. А. Марьянчик вслед за другими исследователями (А. П. Афанасьевой, Б. Н. Бессоновой, В. В. Ильиным, В. И. Карасиком, С. Б. Кожевниковой, А. В. Луговой, А. А. Макейчиком, П. Е. Матвеевой, Г. Г. Слышкиной, В. Н. Шиловой) приводит 14 оснований, которые подходят для классификации ценностей. При этом В. А. Марьянчик неоднократно подчеркивает относительность этих критериев.

Известен подход, при котором ценности выделяются на основе критерия бинарности (ценность – антиценность). Близка к критерию бинарности тернарная система выделения ценностей: в противовес ценности выделяется антиценность₁ (ценность со знаком минус, антонимический характер вербального воплощения) и антиценность₂ (ценность со знаком плюс, отражение ценности, доведенное до абсурда) и инвариант ценности (понятие, которое объединяет антиценность₁ и антиценность₂) [Марьянчик 2013: 22 – 23]. Смоделированная по такой методике система ценностей по сути образует микрополе, основанное на гипо-гиперонимических отношениях и ассоциативных связях. Тернарная система кажется нам субъективной, так как выделение антиценностей и инварианта ценности зависит от ассоциативно-вербальной компетенции исследователя, субъективен и критерий ‘отражение ценности, доведенное до абсурда’. Но этот способ классификации может быть верифицирован при проведении ассоциативных экспериментов и в социологическом исследовании ценностей.

Универсальна классификация Н. Д. Арутюновой, в которой типы ценностей соотнесены с разновидностями оценок, что разрешает вопрос об экспликации ценностей через смежное явление. Она выделяет:

1. сенсорные (включают в себя гедонистические и психологические оценки);
2. сублимированные (объединяют эстетические и этические оценки);
3. рационалистические (в них входят утилитарные, нормативные и телеологические оценки) ценности [Арутюнова 1984; 1988].

Эта классификация получила продолжение в работах Я. Пузыниной [Puzynina 1997], которая выделила прагматические и относительные ценности. Относительные включают метафизические, познавательные, эстетические, моральные, нравственные, витальные ценности и ценности восприятия.

Классификация, предложенная Н. Д. Арутюновой, неспециализирована, вследствие чего каждый ее уровень может раскрываться через более частные, конкретные противопоставления.

По числу носителей, определяющих некое понятие как ценность, выделяются ценности общечеловеческие и индивидуальные, свойственные определенному типу цивилизации и характеризующие определенный этнос или малые группы [Карасик 2004: 22]. Распространение получила и классификация Ю. Г. Вешнинского, который выделяет следующие типы ценностей:

1. государственно-политические, военно-силовые, гражданско-правовые;
2. историко-культурные;
3. коммунитарные (ценности саморастворения в коллективе или общине);
4. природные ценности;
5. научно-когнитивные;
6. персоналистские (ценности личной самореализации);

7. религиозно-конфессиональные;
8. социально-стратификационные;
9. художественно-эстетические;
10. ценности урбанистических локально-территориальных сообществ;
11. экономические;
12. этические;
13. этнические ценности [*Серебренникова* 2008: 34 – 35; *Сальникова* 2014: 10].

Классификации В. И. Карасика и Ю. Г. Вешнинского направлены, прежде всего, на осмысление ценностей как явления, определяющего некую социальную группу. Индивидуальные (по В. И. Карасику), или персоналистские (по Ю. Г. Вешнинскому), ценности рассматриваются не только как знак предпочтений личности, но и как способ сопоставления *личность – общество* в свете ценностных предпочтений. Ю. Г. Вешнинский также учитывает многообразие ценностей в связи с разнообразием общественных отношений и сфер деятельности человека. Такой подход определяет востребованность классификаций В. И. Карасика и Ю. Г. Вешнинского в социалингвистических исследованиях.

Добавим, что классификации, предлагаемые и В. И. Карасиком, и Ю. Г. Вешнинским, и Н. Д. Арутюновой, и Я. Пузыниной, предполагают, что указанные разновидности ценностей и оценок как экспликаторов ценностей могут быть как положительными, так и отрицательными (позитивными – негативными). В целом и при определении ценностей, и при их классификации наиболее продуктивным оказывается метод интроспекции¹, позволяющий выявлять и учитывать промежуточные состояния и процессы и создавать более полную и гибкую систему.

Ценностные ориентации человека могут определяться системой ценностей и норм как стандартом для определения аксиологической

¹ Метод изучения психических процессов (сознания, мышления) самим лицом, переживающим эти процессы; самонаблюдение.

значимости явления, то есть его положения на *аксиологической шкале*. При таком подходе выделяются ценности *положительные, отрицательные и нулевые*: «Если объект соответствует предъявляемым к нему требованиям (является таким, каким он должен быть), он считается хорошим, или позитивно ценным; объект, не удовлетворяющий требованиям, относится к плохим, или негативно ценным; объект, не представляющий ни хорошим, ни плохим, считается безразличным, или ценностно нейтральным» [ФЭС 2003: 969]. На эту классификацию ценностей при описании оценочности в словообразовании опирается Т. И. Вендина [Вендина 1998].

Очевидно, что природа ценностей, их систематизация и классификация представляют для исследователей сложный вопрос, поскольку требуется и учесть многогранность явления, и одновременно подчеркнуть значимые для определенных направлений аспекты (например, выделение общественных и личных ценностей актуальное в социолингвистических исследованиях).

1.2.2. Оценка как средство экспликации ценностей

Естественным образом классификация ценностей становится основанием для построения классификации оценок, эксплицирующих ценности в языке [Вольф 1985; Арутюнова 1984, 1988; Гальперин 2005; Марьянчик 2013; Маркелова 1993]. Комплекс ценностных представлений и оценочных операций, которые накладываются на высказывание, Н. Д. Арутюнова образно называет светотеневой сетью, которая «улавливает и перераспределяет все сущее» [Арутюнова 1984: 6].

При акценте на личностные, субъективные предпочтения человека в его взаимодействии с окружающим миром и другими индивидуумами общее определение оценки формулируется как «одна из форм отражения действительности в человеческом сознании через призму его интересов, потребностей, желаний, его отношение к отображаемому» [Кремих 1986: 19].

В различных определениях оценки подчеркивается когнитивная природа этого действия и устанавливается связь оценки с языковым и

внеязыковым поведением говорящего, что предопределяет вопрос об основании оценки. «Оценка – действие присвоения положительных и отрицательных свойств <...> объекту» [Марьянчик 2005: 7]. Т. В. Маркелова проводит лексический анализ слова *оценка* на основе словарного определения. «Уже в структуре лексического значения слова конденсируются его потенции в области семантических функций и языкового поведения, расширяющиеся за счет свойства различных типов контекстов», – комментирует Маркелова совпадение сигнификативного и прагматического аспектов значения этого слова [Маркелова 1993: 7].

Оценка является субъективным выражением значимости предметов и явлений окружающего нас мира для нашей жизни и деятельности и может рассматриваться как «способ установления значимости чего-либо для действующего и познающего субъекта» [ВЭФ 2001: 755].

В логике оценку описывают четырьмя составляющими: *субъект, объект, основание и характер*. Тот же принцип детализации оценочного акта применяется в лингвистике. *Субъект* оценки – лицо (или социум), определяющее ценность того или иного предмета путем выражения оценки. *Объект* оценки – предмет или явление, которым приписывается ценность или антиценность. *Основание* оценки – мотивация оценки или оценочный признак, то свойство, с точки зрения которого проводится оценивание. Выделяют *внешние* и *внутренние основания* оценок. *Внутренние* ориентированы на эмоциональную сферу говорящего: его положительные и отрицательные эмоции, ощущения, связанные с психической сферой симпатий и антипатий. *Внешние* основания оценки отражают когнитивную сферу говорящего: знания субъекта, которые формируются отношением к ментальной и социальной действительности, окружающей человека. [Маркелова 1993; Вендина 1998]. *Характер* оценки – признание ценности (или антиценности) объекта оценки.

Полемическим является вопрос о соотношении рационального и эмоционального видов оценки. В. Н. Телия подробно анализирует сформировавшиеся в лингвистике подходы к этой проблеме и выделяет:

- эмотивизм, в соответствии с которым эмоциональная сторона речи первична, а рациональная – вторична;

- приоритет рациональной оценки над эмоциональной. На приоритет рациональной оценки указывает то, что любая оценка – плод интеллектуальной деятельности [Арутюнова 1988; Колишанский 1975]. Эмоциональная оценка рассматривается как вид психологической [Арутюнова 1988; Вольф 1985] либо как признак рациональной оценки, актуализированный в речи;

- взаимодействие рациональной и эмоциональной оценки в онтологии при их четком разграничении в языке. Рациональная оценка – суждение о ценности и объективная данность, а эмоциональная (эмотивная) – стимул, тем или иным способом включенный в слово, фразеологизм или текст [Телия 1996: 114 – 120].

Классификации оценок так же, как и классификации ценностей, разнообразны. Выделяют *общую* и *частную* оценку [Арутюнова 1988; Вольф 1985; Толстая 2008]. *Общая* оценка сообщает целостное, обобщенное мнение о предмете, совмещающее разные его свойства и характеристики, сопоставляя его с неким эталоном, идеалом, представлением о норме. Общеоценочные значения реализуются парой, составляющей генеральную аксиологическую ось и выражающей «аксиологический итог» – антитезу *хороший – плохой*. Расстояние между оценочно противоположными точками заполняется синонимами членов аксиологической пары с различными стилистическими и экспрессивными оттенками. Ю. А. Сальникова называет общую оценку *аксиологической*, приписывая ей такие признаки как субъективность, релятивность и нестабильность, которые могут характеризовать и ценности [Сальникова 2014]. При таком подходе граница между ценностью и оценкой несколько стирается.

Частная оценка относится к отдельным сторонам и свойствам объекта и является более субъективной по сравнению с общей. Н. Д. Арутюнова предлагает выделять следующие типы частнооценочных значений:

1. сенсорно-вкусовые, или гедонистические;
2. психологические, которые разделяются на интеллектуальные и эмоциональные оценки;
3. эстетические;
4. этические;
5. утилитарные;
6. нормативные;
7. телеологические [Арутюнова 1984: 12].

Т. И. Вендина, учитывая классификацию оценочных значений, предложенную Н. Д. Арутюновой, выделяет следующие виды оценки в зависимости от соотношенности с этапами восприятия объекта оценки:

1. Оценки-аффективы – отражение чувственного этапа восприятия предметов и явлений внешнего мира. Оценки-аффективы разделяются на зависящие от рецепторов (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус), дополнительно выделены оценки, основанные на температурных ощущениях и гравитации.

2. Оценки-когнитивы, отражающие осмысление оценки возможностями разума. Среди них различаются рационалистические и психологические виды оценок. Психологическая оценка в свою очередь разделяется на эмоциональные и интеллектуальные оценки.

3. Оценки-сублиматы, или абсолютные оценки – эта разновидность оценок интерпретирует чувство прекрасного и нравственные чувства субъекта. Выделяются эстетические и этические оценки-сублиматы [Вендина 1998: 18 – 20].

Названные классификации оценки не отражают социальный аспект, который учтен в классификациях ценностей В. И. Карасика и Ю. Г. Вешнинского. Нельзя игнорировать тот факт, что для разных социальных

групп одно и то же понятие может иметь различную ценность. Это различие проявляется и на уровне оценочных значений в социальных разновидностях языка и, как нам кажется, может быть важным при лингвистическом описании.

Аксиологическая динамика, которая составляет объект нашего исследования, по сути, представляет собой движение по аксиологической оси *хороший – плохой*, поэтому нас в большей степени будет интересовать *общая* оценка. Однако в ходе анализа мы будем обращаться к обозначениям *частнооценочных* значений в соответствии с классификацией Н. Д. Арутюновой.

1.2.3. Шкала как способ представления ценностей и оценок

Система ценностей человека носит ранговый характер, который находит отражение на *аксиологической шкале*. Шкала оценок позволяет учесть динамичность (нарастание / убывание признака), объективный или субъективный характер оценки, а также точку отсчета – представление о норме или эталоне.

«Ценностное сознание делит мир явлений на противоположность добра и зла, прекрасного и безобразного, истины и заблуждения, сакрального и профанного, благородного и подлого и т.д. Все оппозиции воспринимаются <...> не порознь, а в виде единой оппозиции “верха” и “низа”» [Мирошников 2007: 78]. Следовательно, ценностная иерархия представляет собой вертикаль, которая, в связи с субъективной природой ценностей, строится в зависимости от иерархии потребностей человека.

Эта вертикаль предполагает расположение ценностей по признакам *добро – зло*, по степени важности *важно – менее важно – неважно* ценностей одной природы (напр., эстетических, этических, витальных и пр.), по соотношению инструментальные – телеологические ценности. Ценности более высокого уровня складываются из ценностей, обладающих меньшей значимостью. Выстроенные в определенную иерархию ценности образуют

систему, которая наравне с «субъективной реальностью ценностного видения мира ценностей в виде ценностных представлений, оценок, идеалов, канонов, образов» [Янкина, цит. по Горобец 2013: 52] является компонентом *аксиосферы*.

Конструирование ценностных иерархий значительно затрудняется отсутствием единого принципа классификации ценностей и выстраивания аксиологической вертикали при наличии в аксиосфере нескольких ценностных ядер¹. Аксиосфера неоднородна: в ней крупные компоненты (области признаваемого и отвергаемого, поля ценностей и антиценностей, аксиологические иерархии) соседствуют с «единичными» (ценностные представления и оценки), происходит взаимодействие динамических и более стабильных элементов. Аксиосфера также может быть представлена в виде поля, ядро которого представляют наиболее актуальные ценности. Внутри горизонтальной модели могут объединяться несколько вертикальных иерархий, описывающих систему ценностей одного сознания или одного дискурса. [Марьянчик 2013: 11 – 18].

Аксиологическая вертикаль чаще всего выстраивается в соответствии с нравственно-этическим (*добро / благо – зло*), эстетическим (*прекрасное – безобразное*) и утилитарно-прагматическим (*полезно – неполезно*) критериями. Однако аксиологическая вертикаль и указанная горизонтальная модель не исчерпывают способы характеристики аксиосферы как целостной структуры. А. Б. Пеньковский описал тимнологический² принцип стратификации ценностей, в основе которого лежит ранговая горизонталь, представленная верхним и нижним уровнями значимости, называемыми Т- и т-рангами. *Т-ранг* составляет «<...> все то, что важно, значительно, серьезно;

¹ Ядро аксиосферы составляют наиболее значимые для субъекта или дискурса ценности, актуализирующиеся в тексте. В. А. Марьянчик говорит о моделях аксиосферы с нравственным ценностным ядром (в него входят любовь, добро), экзистенциальным ценностным ядром (жизнь), социальным ценностным ядром (свобода, справедливость), с интеллектуальным ценностным ядром, которые реализуются в различных дискурсах. При этом модели могут не только взаимодействовать, но и отвергать друг друга.

² от *timiotaton* – ‘самое важное, ценное и значительное’ (термин из философских трудов Плотина).

чем нельзя пренебречь; мимо чего нельзя проходить; о чем нельзя не думать и не говорить и о чем нельзя думать легко и говорить шутя». Ему противопоставлено образующее *t-ранг* «все то, что неважно, несущественно, несерьезно; чему не следует придавать значения; мимо чего можно пройти; на что не нужно обращать внимание; о чем можно сказать – *пустое (пустяк, пустяки), мелочь (мелочи), безделка, ерунда, чепуха, вздор*» [Пеньковский 2004: 28].

T- и t- ранги раскрываются через множество частных оппозиций: «явление – Сущность», «внешнее – Внутреннее», «форма – Содержание», «случайное – Закономерное», «преходящее – Вечное», «временное – Постоянное», «ирреальное – Реальное», «искусственное – Подлинное», «частное – Общее», «единичное – Массовое», «второстепенное – Основное», «количественно малое – Количественно значительное». Каждый из компонентов оппозиции раскрывается через большее или меньшее количество слов, вследствие чего идея ценностной значимости охватит, по мнению А. Б. Пеньковского, значительную часть русской лексики, объединяющую слова, принадлежащие к различным лексическим и тематическим группам, семантическим полям и основным частям речи.

А. Б. Пеньковский предлагает методику распознавания явления и слова t-ранга. Если слово может сочетаться с местоименным указателем *так* (*просто так / так просто, только так / так только*) в высказывании с определенным интонационным рисунком (*Ну какой я писатель! Это так, проба пера; Ты бы ей платишко купила какое. Так, дешевенькое*), то явление, которое оно называет, представляется несущественным, неважным, несерьезным. Описанная методика, по нашему мнению, не является совершенной, так как интонационный рисунок – объективный критерий для звучащей речи, в письменном тексте интонационный рисунок моделируется, что не исключает неверно понятой прагматики высказывания. Очевидно, что предложенный

А. Б. Пеньковским критерий не будет работать для изолированного письменного высказывания. Нельзя также с однозначностью сказать, применим ли этот критерий к другим языкам. Тимиологическая горизонталь, как и традиционная аксиологическая иерархия, характеризуется исторической изменчивостью, которая зависит от культурной и социальной динамикой.

Тем не менее, нам кажется, что тимиологический подход к описанию аксиосферы имеет свои преимущества. Он позволяет соединить в поле зрения исследователя такие традиционно противопоставленные по основанию *добро – зло* явления, как *жизнь и смерть, красота и уродство*¹, *война и мир* и, возможно, обнаружить глубинное сходство, увидеть промежуточные звенья и наблюдать динамику аксиосферы.

Ранговый характер системы ценностей не вызывает сомнений исследователей. Однако построение иерархии ценностей связано с затруднениями, вызванными многоядерной и многослойной структурой аксиосферы и субъективной природой ценностей. Аксиологическая вертикальная и горизонтальная модели и тимиологическая ранговая горизонталь передают сложное устройство аксиосферы лишь приближенно, хотя и отражают такую важную ее черту, как динамичность.

1.2.4. Средства и способы выражения оценки в языке и речи

Оценочность в большей или меньшей степени находит выражение на всех уровнях языка. Способы выражения эмоциональной оценки на фонетическом уровне с помощью звуков речи, ритма, интонации, просодии отмечалось разными исследователями [*Виноградов 1972; Галкина-Федорук 1958; Белошапкина 1989; Яковлева 1978; Минаева 1986; Тер-Минасова 2009; Гальперин 2005; Вольф 1985; Ретунская 1996; Грановская 1971*]. Как было

¹ Как нам кажется, в какой-то степени такое совмещение, на первый взгляд, несовместимого уже предпринято в книгах Умберто Эко «История красоты» и «История уродства».

сказано выше, интонационный рисунок высказывания может быть критерием для определения ранга слова и явления в рамках тимиологической ранговой горизонтали [Пеньковский 2004]. Оценочное значение интонационных конструкций описано в работе [Брызгунова 1984].

Оценочная семантика также может выражаться графическими средствами в письменном тексте [Маркелова 1993; Мельничук 2016; Грановская 1971; Сидоров 1946]. Эффективными способами выражения оценочности являются замена прописной буквы на строчную, употребление кавычек, сочетание кириллического и латинского алфавита в рамках одного слова и высказывания. Нередко намеренные нарушения правил графического оформления сопровождаются метарефлексией авторов текста, поясняющих роль того или иного графического решения.

Орфография как область языка, максимально подчиненная нормам, также обладает большим оценочным потенциалом. Целенаправленное нарушение орфографической правильности – эрративные написания¹, эсхрофемизмы² – сильное стилистическое средство и способ выражения оценочности в интернет-коммуникации: «*вмемориз, вмемарис, в меморис, фмеморис* – в *memories*, т. е. в архив достойных сохранения дневниковых записей, высокая оценка высказывания; *беспесды – без пизды*, может употребляться как в положительном, так и в отрицательном значении; *зачот – зачет*, слово из студенческого обихода, выражение одобрения; *афтар выпей йаду! – автор, выпей яду!* выражение неодобрения данного постинга» [Гусейнов 2006: 396 – 405].

Вопрос о статусе оценочного компонента лексического значения представляется спорным и подробно рассматривается в особом разделе нашего исследования. Сущность дискуссии сводится к проблеме принадлежности оценочной семы сигнификативному или коннотативному

¹ Термин Г. Ч. Гусейнова

² Мы имеем в виду ту разновидность эсхрофемизма, при которой намеренное искажение слова на письме приводит к паронимии с обценной лексической единицей.

компоненту лексического значения. В современной лингвистике сосуществует три точки зрения по этому поводу:

1. Оценка – часть сигнификативного компонента [Филиппов 1978, Шмелев 1973; Петрищева 1984];

2. Оценка – часть коннотации [Арнольд 2005; Телия 1986; Харченко 1976];

3. Оценка принадлежит и сигнификативному, и коннотативному компоненту [Скребнев 1975; Стернин 1979; Ретунская 1996; Кремих 1986; Никифорова 2008].

Нам кажется, что наиболее обоснована последняя позиция, и именно она подтверждается нашими наблюдениями за динамикой оценки отдельных лексических единиц в диахроническом аспекте.

Фразеологизмы также являются важным средством образно-эмоциональной оценки предметов действительности, отражая ценностное осмысление содержания фразеологической единицы сквозь призму установок культуры [Телия 1996: 86; Пугач, Заметалина, 2003: 49; Ковшова 2013: 131 – 143]. М. Л. Ковшова анализирует оценочное содержание ряда фразеологических единиц (*души не чаял, себе на уме, палец о палец не ударит, под крыло брать / прятать / возвращать, прибрать к рукам и др.*) и выявляет их оценочный синкретизм в различных коммуникативных ситуациях. С точки зрения исследовательницы, фразеологизмы совмещают в себе собственно языковую семантику с семантикой культурной, вследствие чего в процессе коммуникации «образ фразеологизма ”будит” отождествление происходящего с тем, чем это происходящее обусловлено» [Ковшова 2013: 134].

В. В. Лопатин систематизировал грамматические средства выражения оценочных значений, выделив:

«1. Словообразовательные средства (суффиксы, префиксы) – средства так называемой субъективной оценки в сфере имен и отчасти средства модификации глагольного действия;

2. Особые употребления категориальных морфологических форм;
3. Построения с определенными служебными словами, прежде всего с модальными частицами и их аналогами;
4. Построения с модальными (в том числе вводными) словами;
5. Повторы различной структуры;
6. Междометия и звуко-символические слова;
7. Средства словопорядка и интонации» [Лопатин 2007: 538].

На морфологическом уровне оценочное значение может выражаться как в рамках лексико-грамматических классов слов, так и на уровне частных грамматических категорий, значений и форм. Динамика оценочного компонента нередко сопряжена с изменениями грамматических характеристик слова (переход из имен собственных в нарицательные, из относительных в качественные, приобретение частями речи форм, несвойственных им ранее, – напр., форма сравнительной степени у относительных прилагательных; или, наоборот, ограничение на употребление некоторых форм¹).

Подробно описана способность неопределенных местоимений выражать оценочные значения [Арутюнова, Ширяев 1983; Шелякин 1978; Вольф 1985; Николаева 1983; Киселева 1968; Князев 2007; Кузьмина 1989; Булыгина, Шмелев 1997; Пеньковский 2004]: *Ничего, будут и её дети докторами медицины, и не в какой-то Швейцарии, на краю света, а в великой стране, стране на шестую часть планеты. (Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок). – В нем что-то есть. – Явится какой-нибудь и начнет всем указывать. – Приходил тут один.* Когнитивным источником отрицательной оценки в подобных контекстах считается значение неизвестности [Ермакова 1996: 202], которое Е. М. Вольф описывала как особую модальность «незнания»: «неизвестный, значит, скорее плохой» [Вольф 1985: 131]. М. Хаспельмат, рассматривая этот вопрос в

¹ Например, у глагола *домогаться* в современном значении в единственном числе прошедшего времени доминирует форма мужского рода.

типологической перспективе, объяснял отрицательную оценку неопределенных местоимений «отрицательным отношением говорящих к отсутствию избирательности» [Князев 2007: 92].

В составе ориентированных на выражение оценки морфологических категорий В. В. Лопатин выделил три группы: 1. Категории, «первично служащие выражению оценки» (степени сравнения, наклонения); 2. Категории, обладающие достаточно широким спектром оценочных употреблений (вид, время, лицо, число); 3. Категории, оценочный потенциал которых минимален, хотя он тоже есть (падеж¹, род, залог) [Лопатин 2007: 538 – 539]. Нам представляется, что чем реже грамматическая категория выражает оценочное значение, тем выше экспрессивный потенциал оценочности такой редкой конструкции. Отметим также, что В. В. Лопатин, рассматривает только нормативное употребление морфологических категорий и форм, исключая из своего поля зрения оценочный потенциал нестандартных форм в художественных текстах², особенно в поэзии.

А. Б. Пеньковский вслед за А. В. Исаченко, И. И. Ревзиным, П. А. Лекантом отмечал развитие отрицательной оценки у словоупотреблений во множественном числе при значении «реальной единичности», так называемом множественном «гиперболическом» [Арбатский 1972]: Я университетов не кончал; Я верчусь как проклятая, а ты *по театрам* ходишь [Пеньковский 2004: 8]. Отрицательная оценка при этом тесно переплетается с функциональной стилистикой (множественное гиперболическое – принадлежность разговорной речи) и стилистикой ресурсов (экспрессивная форма, выражающая фамильярность, иронию, неодобрение, шутливость). В. М. Мокиенко обобщает эти наблюдения: «Синкретизм понятий

¹ В примечаниях к статье В. В. Лопатин указывает: «<...> чрезвычайно выразительна, например, оценочная функция обозначения высокой интенсивности признака или его полного отсутствия для родительного партитивного: Народу-то! Билетов – ни одного» [Лопатин 2007: 542]. Нам кажется, что выразительность и оценочная функция в этих примерах обеспечивается экспрессивным синтаксисом: родительный партитивный – стандартная конструкция генитивного предложения.

² Просторечная форма в художественной прозе может служить оценкой субъекта речи.

малоценности и множественности – одна из семантических универсалий поля «квантитативности» [Мокиенко 1995: 7].

Ю. П. Князев отмечает, что оценочное значение часто сопровождает употребление глаголов несовершенного вида: а) в ретроспективе, когда глагол соотносится с ситуацией, уже имевшей место в прошлом и завершившейся к моменту речи; б) в неограниченно-кратном значении [Князев 2007: 90 – 91].

Г. А. Золотова выделила среди классов слов лексико-грамматическую категорию оценки. Кроме того, оценочная реакция говорящего составляет реактивный коммуникативный регистр [Золотова 1998: 274 – 282]. Н. Д. Арутюнова описала функционирование аксиологических операторов «хорошо» и «плохо» [Арутюнова 1988].

Рассматривая оценку с позиции функциональной грамматики, В. В. Лопатин выделил «ряд функциональных комплексов, формирующих оценочную сферу языка:

1. Истинность – ложность, достоверность – недостоверность того или иного факта, включая сюда степень соответствия его действительности (модальности возможности, предположительности, желательности, необходимости и др.) и степень соответствия ожидаемому;
2. Точность – приблизительность, определенность – неопределенность и известность – неизвестность чего-н. субъекту речи;
3. Интенсивность, степень проявления признака;
4. Заинтересованность субъекта в чем-н. – безразличие к чему-н., акцентирование (выделение) важного, существенного либо, наоборот, неважного, несущественного;
5. Позитивные – негативные оценки и связанные с ними реакции (радость, восхищение – недовольство, досада, ирония, возмущение и т.п.);
6. Уровень общения с адресатом речи, связанный с оценкой ролей участников речевого акта в общении либо их социальных ролей: официальность, вежливость, непринужденность, фамильярность,

снисходительность, категоричность суждения или волеизъявления» [Лопатин 2007: 537].

К вопросам оценочного словообразования обращались многие исследователи [Виноградов 1972; Гальперин 2005; Карасик 2005а, 2005б; Маркелова 1993; Лопатин 2007; Вендина 1998; Виноградова 2012; Зубова, Меньшикова 2014]. В. В. Виноградов писал о субъективно-оценочных суффиксах существительных, качественных прилагательных. [Виноградов 1972: 121 – 122]. Уже сама по себе словообразовательная активность может интерпретироваться как сигнал значимости, ценности для картины мира говорящего понятия, маркированного словообразовательным аффиксом. Т. И. Вендина видит сходство между когнитивным и психологическим компонентами словообразовательного акта и механизмом выражения мнения о ценности в полипредикативных предложениях: «...здесь происходит то же сопоставление и так же дается логическая квалификация и оценка явлений, подлежащих словообразовательному детерминированию, как и в предикативных конструкциях...» [Вендина 1998: 8]. Той же позиции придерживается Т. В. Маркелова, которая проводит параллель между структурой производного слова и оценочного высказывания, где аффиксу соответствует функция оценочного предиката на основе его обязательности в оценочном семантическом комплексе [Маркелова 1993].

Очень ценным нам кажется замечание В. В. Лопатина о комбинаторике оценочных значений в пределах одной словообразовательной морфемы: «... в одном и том же словообразовательном суффиксе нередко сочетаются уменьшительность и положительная оценка (традиционно называемая термином “ласкательность”), уменьшительность и отрицательная оценка (“уничижительность”, “пренебрежительность”), увеличительность и уничижительность (“пейоративность”), хотя контекстуально и ситуативно в таких образованиях может актуализироваться то один, то другой компонент оценочной семантики» [Лопатин 2007: 539]. Очевидно, что именно морфема контаминирует рациональную и эмоциональную оценку.

Изучение оценки на синтаксическом уровне сводится к описанию аксиологических предикатов [Вольф 1985; Воинова 1973] и формальных признаков оценочного предложения [Блох, Ильина 1986; Авганова 1975]. М. Я. Блох и Н. В. Ильина предлагают считать оценочными конструкциями лишь такие, в которых оценочная лексическая единица находится в позиции предиката [Блох, Ильина 1986: 15 – 20]. Важным для выделения структурно-семантических особенностей оценочных предложений является их связь с контекстом, возникающая между предложениями при развертывании высказывания [Авганова 1975; Рословец 1973: 77 – 78]. Между оценочными конструкциями могут возникать структурно-семантические отношения, которые образуют эмотивный блок, организованный по закону триады: троекратное повторение одного и того же состояния, указание на три особенности предмета оценки [Гак 1996: 22].

Н. Ю. Шведова вслед за В. В. Виноградовым [Виноградов 1975] исследует языковую модальность и выделяет ее субъективную и объективную разновидности. Эмоциональная оценка принадлежит модальности, которую Н. Ю. Шведова определяет как характеристику «отношения к сообщаемому, экспрессивное выражение тех или иных эмоций говорящего по поводу содержания сообщения» [Шведова 1960: 16]. Такого же мнения придерживаются [Авганова 1975; Вольф 1985; Петров 1982; Телия 1986]. Оценочная модальность обязательно характеризуется присутствием субъективного фактора, который взаимодействует с объективным. Е. М. Вольф считает, что оценка, включенная в контекст, встраивается в особую структуру – модальную рамку. Н. С. Валгина исключает эмоционально-экспрессивные отношения из числа модальных [Валгина 1971].

Следует отметить, что оценка может быть заложена и в основу отдельных речевых жанров (угроза, благодарность), а также быть компонентом фольклорных текстов (запреты и предписания, проклятия и пожелания блага).

С точки зрения структурно-функционального подхода оценка находит выражение на всех уровнях языковой системы. Оценочность широко представлена на уровне лексемы: она соприкасается с внешней (звуковой, графической) формой слова, с грамматическими и лексико-грамматическими категориями, глубоко затрагивает семантику. Оценка также проявляется на уровне предложения и текста. Такое всепроникновение, безусловно, затрудняющее однозначное описание, можно сравнить с диффузией вещества. Для наблюдения за аксиологической динамикой большой интерес для нас представляет оценка в контексте лексического значения.

1.2.5. Оценочный компонент лексического значения

Оценочный компонент лексического значения является результатом трансформации тех «личностных смыслов», которые возникают при вербализации субъективной информации, полученной на этапе ощущения. На перцептивном этапе «личностный смысл и создает пристрастность человеческого сознания» [Леонтьев 1975: 147].

По мнению Н. Ф. Алефиренко, лексическое значение шире понятия, потому что «значение как языковая категория пропускает отраженную совокупность обобщенных признаков именуемого объекта через призму конкретной национально-языковой системы» [Алефиренко 1999: 51]. Интенционал, представляющий ядро семантической структуры слова, наиболее устойчивая часть значения, задается понятием. Околоядерная и периферийная зона значения складываются из результатов чувственно-образного отражения объекта – чувства, эмоции, оценки, волеизъявления, которые способны индуцировать новые значения или компоненты значения.

Вопрос о месте оценочного компонента в составе лексического значения слова решается неоднозначно. Очевидно, что оценка не входит в ядерную зону лексического значения, но статус ее вне этой зоны достаточно зыбок.

Нередко предпринимается попытка объединить периферийные элементы лексического значения термином *коннотация* – «тот аспект значения номинативных единиц, который представляет собой совокупность эмотивных, ассоциативно-образных и стилистических сем, отражающих не столько признаки объектов, сколько отношение говорящего к обозначаемому или к условиям речи» [Алефиренко 1999: 108], «имплицитно сопутствующий образ» [Ризель 1978: 10 – 18]. Следует отметить, что И. А. Гальперин выводит коннотацию за пределы лексического значения, считая ее сопутствующим компонентом. Н. Г. Брагина выделяет культурную коннотацию как «установку на дискурс», подчеркивая ее принципиальное отличие от сем [Брагина 2007: 331].

Ряд исследователей [Попова, Стернин 1984; Телия 1986; Шаховский 2008] относят к коннотации оценочный компонент наравне с эмоциональными, экспрессивными и стилистическими микрокомпонентами.

Иной точки зрения придерживается Ю. Д. Апресян. Он считает, что лексическое значение слова складывается из семантики знака и той части прагматики, которая включается в модальную рамку толкования. Ю. Д. Апресян определяет коннотацию как «несущественные, но устойчивые признаки выражаемого лексемой понятия, которые воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку соответствующего предмета или факта действительности; они не входят непосредственно в лексическое значение слова и не являются следствиями или выводами из него» [Апресян 1995а: 159]. Таким образом, коннотации не входят в лексическое значение, но составляют область понятийного содержания слова, сближаясь с социальными и индивидуальными ассоциациями того или иного слова. Оценка так же, как экспрессивные элементы значения (семантические ассоциации, ассоциативные признаки, коннотации), составляет прагматику языкового знака. С коннотативным компонентом ее сближает способность характеризовать «отношение говорящего или адресата сообщения к описываемой знаком действительности» [Апресян 1995а: 67]. Различие же, по

мнению Ю. Д. Апресяна, состоит в том, что коннотации включают связанные со словом социально-культурные традиции, которые обусловлены внеязыковыми факторами. Как прагматический компонент знака оценка соответствует модальной рамке высказывания (в концепции А. Вежбицкой) или пресуппозиции (в понимании Ч. Филмора).

И. А. Стернин исходит из того, что оценочность выражает определенное отношение говорящего к предмету денотации и характеризует ситуацию общения, а не отражает признаки денотата. Следовательно, оценочная сема является коннотативной [*Попова, Стернин 1984: 57*].

Л. А. Сергеева выделяет особый экспрессивно-оценочный тип коннотаций, для которого свойственно выражение не только качественного, но и количественного признака, имеющего потенциальный характер и ассоциативно-образное происхождение (*голодный как волк, собачья должность, львиная доля*) [*Сергеева 1983: 116*].

Оценочность может рассматриваться как один из видов модальности. Денотативно-оценочная модальность (собственно оценочное значение) характеризует предмет номинации. Эмотивно-оценочная модальность определяется «переживанием» человеком того образа, который лежит в основе внутренней формы слова или фразеологизма или эмоциональной реакцией говорящего на необычное означающее. В. Н. Телия подчеркивает: «Этот эмотивно-оценочный компонент вместе с основанием оценки (внутренней формой), а также стилистической маркировкой и образуют коннотацию» [*Телия 1986: 25 – 26*].

Л. Е. Кругликова считает, что эмоциональный и оценочный компоненты входят в семантическую структуру, а стилистический не входит. Она аргументирует свою позицию в том числе тем фактом, что изменение эмоциональной окраски и оценки может привести к изменению лексического значения [*Кругликова 1988*].

Некоторые исследователи полагают, что тесная связь оценочности и эмотивности требует выделения единого эмоционально-оценочного

компонента слова [Лукьянова 1976; Харченко 1983; Цоллер 1996]. Л. А. Каллимулина придерживается иной точки зрения. Она разделяет позицию Е. М. Вольф и пишет, что «слова с эмотивным значением, реализующие понятие об эмоции, являются “квазиоценочными”, поскольку в данном случае эмоциональное состояние расценивается как положительное или отрицательное с точки зрения “общего мнения”» [Каллимулина 2004: 35].

А. В. Филиппов утверждает, что коннотация складывается из эмоционального и стилистического компонентов, тогда как оценка – это прагматический компонент, входящий в сферу денотации [Филиппов 1978]. Денотативную природу оценки признавали также В. И. Шаховский и Э. Г. Ризель. В. И. Шаховский указывал на связь оценки с категорией интенсивности, которая отражает степень проявления какого-либо признака денотата. Таким образом, по мнению исследователя, оценочная сема рациональна, хотя на нее и влияет близость эмоционального компонента. Этому положению противоречат результаты психолингвистического эксперимента Е. Ю. Мягковой, которая показала, что эмотивность и оценочность взаимно детерминируются [Мягкова 1990].

В. М. Марьянчик отмечает, что оценочный компонент «может локализоваться в дескриптивном и / или коннотативном (в широком понимании) макрокомпонентах, а также иметь полилокальную закрепленность и состоять из нескольких субкомпонентов, находящихся в различных отношениях (интенсификационных, мотивационных, контрактирующих)» [Марьянчик 2005: 7].

Е. Н. Никифорова допускает, что периферийный коннотативный оценочный компонент может при определенных преобразованиях семантики становиться ядерным: например, при употреблении слова в переносном значении, в составе метафоры, в качестве вторичной номинации [Никифорова 2008: 106].

Если считать, что семантическая структура слова включает в себя грамматический, предметно-понятийный и коннотативный

макрокомпоненты, то оценка может интерпретироваться как микрокомпонент либо предметно-понятийного, либо коннотативного макрокомпонента. Если же считать, что коннотация – лишь сопутствующий, а не включенный элемент семантической структуры, то предлагается определить оценку как «компонент прагмалингвистического макроэлемента семантической структуры». Он включает в себе «социально и исторически закрепленные оценки, эмоции познающего субъекта, а также знания о стилистической принадлежности слова» [Алефиренко 1999: 138].

Следует отметить, что на практике четкое разделение семантического и прагматического компонентов затруднено, так как они существуют в неразрывной связи и постоянно взаимодействуют. «Значение языкового знака обращено как к внеязыковой действительности, так и к людям, обсуждающим эту действительность, так что <...> правильнее говорить не о границе между семантикой и (лингвистической) прагматикой, а о границе между “когнитивными” и “прагматическими” аспектами языкового значения, понимая при этом, что указанная граница иногда оказывается не вполне ясной или подвижной» [Булыгина, Шмелев 1997: 7].

Логично утверждать, что оценочный компонент значения лексической единицы активизирует интерпретирующую и прагматическую функции, а также инспирирует экспрессивную функцию слова, то есть способность «выражать состояние сознания, содержащее социологизированные модально-оценочные отношения социума к предмету именованию» [Алефиренко 1999: 69].

1.2.6. Проблема лексикографического описания оценки

По мнению В. Г. Гака, мир слов и мир вещей неразделимы, и толковый словарь фиксирует не только репертуар лексических единиц, но и понятия, предметы и знания, ценные для носителей языка [Гак 1971]. Оценочный потенциал слова – культурно значимая информация, но отражение

оценочности в словарях разных типов не всегда последовательно и однозначно.

Система лексикографических помет в целом представляет собой тонкое место лексикографического описания. Трудности фиксации оценочной характеристики, конечно, обусловлены сложной, многообразно проявляющейся природой оценки, которая, как было показано выше, по-разному интерпретируется лингвистами. Как часть коннотации оценочный компонент традиционно отражается через стилистические пометы. Состав помет, касающихся общей оценки, варьируется от словаря к словарю. Кроме того, не вполне описана методика присвоения эмоционально-оценочных помет.

В Словаре русского языка XVIII в. под ред. Ю. С. Сорокина экспрессивно-оценочная характеристика выражается такими пометами, как *Бран.* (бранное), *Груб.* (грубое), *Унич.* (уничижительное), *Ласк.* (ласкательное), *Ирон.* (ироническое) и рассматривается авторами Словаря как составная часть семантической характеристики слова. Пометами не снабжаются слова, общее лексико-грамматическое значение которых предполагает выражение оценочных характеристик [СРЯ XVIII в. Проект 1977: 114; СРЯ XVIII в. 1984 – ...].

В Толковом словаре русского языка под ред. Д. Н. Ушакова (далее – ТСУ) присутствуют стилистические пометы, указывающие на выразительные оттенки (экспрессию) слова: *бран.*, *ирон.*, *шутл.*, *пренебр.*, *презрит.*, *неодобр.*, *торж.*, *укор.*, *эвф.* Отрицательную оценку выражают пометы *пренебр.*, *презр.*, *неодобр.*, однако не вполне ясно, как они распределяются:

дрянь ‘1. хлам, негодная вещь’(пренебр.); ‘низменный, ничтожный человек’(пренебр.) [ТСУ Т. 1: ст. 807];

желторотый ‘2. перен. Молоденький, еще неопытный в жизни (разг., пренебр)’ [ТСУ Т. 1: ст. 854];

зубоскал ‘(разг., неодобрит.) Пересмешник, тот, кто постоянно зубоскалит’[ТСУ Т. 1: ст. 1119];

ряшка '2. Лицо (простореч., презрит., вульг.)' [ТСУ Т. 3: ст. 1424].

В Словаре русского языка в 4 т. под ред. А. П. Евгеньевой (далее – МАС) собственно оценочные пометы не выделяются. Имеются пометы указывающие на эмоциональную окраску слова: *бран.* (бранное), *ирон.* (ироническое), *шутл.* (шутливое), *пренебр.* (пренебрежительное), *презр.* (презрительное), *неодобр.* (неодобрительное) и *почтит.* (почтительное). Близка к отражению общей отрицательной оценки помета *неодобр.* Интересно, что указание на отражение оценки содержит помета *ирон.* «т. е. слово или значение, выражающее ироническую оценку предмета, явления и т.п.» [МАС Т.1: 10].

В Проспекте Нового академического словаря оценка рассматривается и как коннотативный компонент слова, и с позиции прагматики. Наравне с эмоциональной окраской слова оценка отнесена в коннотативную рубрику функционально-стилистических характеристик, что является традиционным для толковых словарей. Коннотативная характеристика описывается девятью пометами: *ласк.* (ласкательно), *одобрит.* (одобрительно), *насмешл.* (насмешливо), *неодобр.* (неодобрительно), *пренебр.* (пренебрежительно), *презрит.* (презрительно), *бран.* (бранно), *шутл.* (шутливо), *ирон.* (иронически). Собственно оценочными являются пометы *одобрит*¹. и *неодобр*². Критерием оценочности выступает не только интроспекция, определяемая языковым опытом составителя словаря, а и словообразовательный признак, и семантический анализ основы.

Прагматический компонент в Проекте словаря рассматривается как «сумма коннотаций <...>, а также специфика семантики <...> – все многочисленные и многообразные элементы, сопутствующие лексическому значению, которые в речевом акте несут информацию о намерениях

¹ «ставится при словах, имеющих устойчивую оценку одобрения... Характерная для этого лексического разряда модель – оценочный суффикс, присоединяемый к основе мелиоративной семантики» [Скляревская 1994: 45 – 46].

² «ставится при словах, содержащих устойчивую оценку неодобрения, порицания, заключенную в семантике слова и подкрепленную соответствующей словообразовательной моделью» [Скляревская 1994: 45 – 46].

говорящего, о речевой ситуации, о статусах собеседников, об оценке предмета речи <...> Оценочный элемент (хорошо / плохо) в этом случае направлен на означаемое, само слово при этом как будто бы остается нейтральным. Однако он может реализоваться при семантическом развитии» [Скляревская 1994: 48]. Г. Н. Скляревская критикует свойственное советской лексикографии привнесение идеологических наслоений в толкование слова (например, слова *консервативный*, *буржуазный* описывались только с негативными коннотациями, что не отражает их языкового употребления). Прагматика оценки маркируется графически на уровне значений: *Палач* (–). *Светлый* (+). *Уголовщина* (–). *Пугать* (–). *Звереныш* (–). *Детеныш* (+).

Собака 1. *Домашнее животное...* 2. (–) *Перен. Презрит. О грубом, жестоком, злом человеке* [Скляревская 1994].

Толковый словарь русского языка конца XX в. (1994) под ред. Г. Н. Скляревской охватывает изменения лексического фонда русского языка в 1985 – 1997 гг. Важным компонентом этого издания являются сопоставительные словарные статьи, в которых толкования идеологически значимых для советского периода слов дополнены словарными статьями Словаря русского языка в 4 т. под ред. А. П. Евгеньевой и Толкового словаря русского языка под ред. Д. Н. Ушакова. Такое сопоставление позволяет наблюдать динамику оценки в контексте социально-политических изменений:

Оппортунизм, а, м. В марксизме: политика отказа от революционной борьбы, идеалов пролетариата и сотрудничества с буржуазией. <...>

- Ср. МАС: враждебное марксизму-ленинизму течение в рабочем движении, подчиняющее классовые интересы пролетариата интересам буржуазии, проповедующее соглашательство, сотрудничество с буржуазией, отказ от революционных средств борьбы [ТСР. Яз. изм. 2002: 439].

Оценочная характеристика слова находит выражение в пометах собственно стилистической характеристики, которые демонстрируют положение слова на шкале «высокое / низкое». *Высок.* (высокое) ставится

при словах, свойственных патетическим текстам и торжественной коммуникации: *зарница, ковать, светоч. Сниж.* (сниженное) – при словах из экспрессивного просторечия, содержащих элементы резкой оценки: *сбацать, свалить, «уйти», порнуха, балдеть, балдёж*. Эта пара помет кажется нам не вполне пропорциональной: в патетических текстах и торжественной коммуникации могут встречаться и слова с «низкой семантикой»¹. Помета *Высок.* в полной мере стилистическая, тогда как *Сниж.* тяготеет к собственно оценочной помете, отражающей представление о ценности понятия.

Пометы, названные Г. Н. Складневской в этом словаре оценочными, отражают эмоциональную окраску или оценку слова: *Ирон.* (иронически: *политтусовка, процесс пошел, народный избранник, демократура*), *Неодобр.* (неодобрительно, отражает негативную оценку: *брежневщина, нувориш, функционер, совковый*), *Презрит.* (презрительно: *интеллигентик, сексот*), *Шутл.* (шутливо: *прихватизация, барабашка, извозчик, включить печатный станок*).

В идеографическом Функционально-когнитивном словаре русского языка под редакцией Т. А. Кильдибековой (далее – ФКС) круг эмоционально-оценочных помет очень широк: *одобр., ласк., уменьш-ласк., почтит., шутл.; неодобр., ирон., пренебр., презр., уничиж., фам.* (фамильярное). К этому ряду приближается по смыслу помета *сниж.*(сниженное), названная стилистической:

сниж. вкуснятина, вкусности [ФКС 2013: 61]

Здесь помета, безусловно, отражает именно стилистические особенности слов, но далее:

сниж. варево, бурда, отравы, *груб.* помои [ФКС 2013: 61] – стилистические пометы отражают, скорее, коннотацию. По нашему мнению, более уместно здесь выглядела бы помета *неодобр.*

¹ Термин *низкая семантика* [ТСР Яз. изм. 2002: 21], по нашему мнению, носит субъективный характер. В соответствии с уровнем идеологизации русского языка в советский период в круг низких могут быть включены и явно книжные слова, термины. Например, *режим, буржуазный*.

Нам представляется, что пометы *почтительное* и *фамильярное* в большей мере характеризуют прагматический и стилистический аспекты, нежели эмоционально-оценочный. В ФКС в основном не сопровождаются эмоционально-оценочными пометами слова в переносном значении:

перен. ходить петухом ‘о задиристом человеке’

перен. Цыпленок ‘о неопытном, молодом человеке’

перен. Гусь ‘о человеке, не вызывающем доверия, плутоватом’ [ФКС 2013: 229].

перен., уничиж. Букашка ‘о человеке незаметном, незначительном’ [ФКС 2013: 224].

Нам кажется, что для словаря, описывающего языковую картину мира, указание эмоционально-оценочных характеристик в таких случаях важно, поскольку переносные значения – это зона, в которой очень ярко проявляются специфические национальные языковые черты.

Русский семантический словарь: Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений (1998 – 2007) под ред. Н. Ю. Шведовой (далее – РСС) ориентирован на описание лексики русского языка как иерархической системы, отражающей языковую картину мира. В предисловии указано, что «картина оценок, оценочных характеристик, разлитая по разным лексическим классам и открывающаяся через разнообразные словесные множества» представлена на страницах Словаря как значимый компонент языковой картины мира [РСС Т. 1: XVI]. В этом Словаре сохранена система стилистических помет, принятая в однотомных Словаре русского языка С. И. Ожегова (изд. 1 – 23, 1949 – 1989 гг.) и Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (изд. 1 – 4, 1993 – 1997 гг.).

Оценочное значение отмечается как отдельное толкуемое словозначение:

1. ЧЕЛОВЕК, *-а*, в знач. мн. люди, *-ей* (человеки – *устар.* и *шутл.*; косв. п. человек, человеками и т.д. только в сочетании с

количественными словами; зват. п. человеке в обращении – *стар.* и *шутл.*), м. <...> 3. О том, кто характеризуется положительно (разг.). Наш командир – это ч.! Вот ч. так ч.! (высокая оценка). [РСС Т. 4: 355].

Обращение к словарям различных типов показывает, что сведения о коннотациях лексических единицы сосредоточены в основном в зоне лексикографических помет. Эмоционально-оценочные пометы содержат сведения об оценке слова в нерасчлененном виде, что обусловлено методологической сложностью отделения собственно оценочного компонента от эмоционального. Лишь отдельные пометы можно с долей условности назвать собственно оценочными. Прагматическая информация в целом представлена в лексикографических источниках фрагментарно и непоследовательно и лишь в Проспекте Нового академического словаря под ред. Г. Н. Складневской приобретает статус специального предмета лексикографического анализа и описания.

1.2.7. Оценка в интерпретации антропоцентрической лингвистики

Обращение к субъекту высказывания знаменует собой переход от анализа стабильного значения слова к рассмотрению изменчивого содержания высказывания [Арутюнова 1985: 8]. Исследователи обращаются к антропологической составляющей категории оценки, изучая ее с позиций когнитивной лингвистики, психолингвистики, лингвокультурологии, социопрагматики.

В когнитивных исследованиях основной интерес при изучении оценки представляют механизмы, формирующие оценочные значения, их восприятие и усвоение. Когнитивный анализ оценки может основываться на теории фрейма [Шейгал, Желтухина 2000], теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона, которая широко применяется при исследовании аксиологии различных дискурсов [Чудинов 2006; Перескокова

2006], теории прототипа Э. Роша [*Вежбицка 1999; Шаховский 2008*]. А. Н. Баранов выделяет в процедуре оценивания такие мыслительные операции, как выбор объекта оценки, выбор признака оценки, сопоставление предмета оценки с оценочным признаком, приписывание значения признака оцениваемому объекту [*Баранов 2007: 75*].

Психолингвистический анализ категории оценки, основанный в первую очередь на языковых данных информантов, направлен на исследование восприятия и формирования оценочных значений в соотношении со способами и средствами выражения оценки в языке и речи. Целью этого направления исследований является описание механизма перехода оценочного значения из «ассоциативно-вербальной сети как формы хранения языковых значений к внешней вербализации» [*Сальникова 2014: 16*].

Лингвокультурологический подход оперирует не только понятием оценочного значения, но также непосредственно обращается к ценностным категориям. Ю. А. Сальникова отмечает два направления лингвокультурологических исследований – от единицы языка к единице культуры и от единицы культуры к единице языка [*Сальникова 2014: 17*]. Именно лингвокультурологический подход к взаимодействию ценностных категорий и оценки представляется нам наиболее перспективным для описания аксиологической динамики.

1.3. Выводы

Анализ научной литературы показывает многообразие подходов к изучению понятий ценности и оценки, ключевых для аксиологии.

Лингвоаксиология – достаточно молодое, но стремительно развивающееся направление, которое соединило в себе теоретические и методологические достижения аксиологии как общего учения о ценностях и собственно лингвистические подходы к осмыслению ценностей и их языковой экспликации – оценкам. Терминологический аппарат

лингвоаксиологии еще не вполне утвердился и нередко требует дополнительного комментирования.

Одним из ключевых вопросов аксиологии является проблема выделения и классификации ценностей. Обращение к различным подходам описания ценностей показало, что ни один перечень дифференциальных признаков, а также классификация ценностей не могут быть исчерпывающим, поскольку понятие ценности субъективно и исторически изменчиво.

Оценка, представляя интерес и для философии, и для логики, достаточно подробно исследовалась и в языкознании. Полное, всеобъемлющее описание системы оценок так же, как вопрос о стратификации ценностей, порождает сложности. С нашей точки зрения, наиболее востребована классификация Н. Д. Арутюновой, в которой исследовательнице удалось отразить взаимосвязь оценок и ценностей. Наибольший интерес для нас представляет общеоценочное значение, которое определяется шкалой *положительное – отрицательное*, хотя в отдельных случаях мы будем пользоваться и терминологией из сферы частной оценки.

Средства выражения оценки обнаруживаются на всех уровнях языковой системы, что также затрудняет создание полного описания языковой оценки. Спорным представляется вопрос о месте оценочного компонента в лексическом значении слова и его соотношении с коннотацией. Мы считаем, что оценка содержится и в сигнификативном, и в коннотативном компонентах слова.

Обращение к историческому, толковым и идеографическим словарям показало, что отражение оценки в лексикографической практике также сталкивается с определенными проблемами: недостаточной разработанностью системы собственно оценочных и отсутствием единой принятой методологии проставления эмоционально-оценочных помет.

Исследования в русле антропоцентрической лингвистики рассматривают оценку сквозь призму говорящего субъекта, осмысливают её

как многоступенчатую мыслительную операцию, раскрывают механизмы формирования и вербализации оценочных высказываний. Лингвокультурология, рассматривая язык как феномен культуры, позволяет обратиться к осмыслению аксиологической динамики слов.

ГЛАВА 2

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА И ПОИСК ПОДХОДА К ОПИСАНИЮ ДИНАМИКИ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ АКСИОЛОГИИ

2.1. Исследование аксиологической динамики в рамках языковой картины мира

Динамичность ценностных иерархий, их ситуативность, которая находит отражение в синтагматике языковых единиц, индивидуальный характер ценностной картины мира, а также проблема соотношения духовных и ментальных феноменов с их вербальными знаками представляют проблему для однозначного, убедительного моделирования ценностной иерархии [Марьянчик 2013: 20 – 30]. Даже в рамках одного языкового коллектива и общей языковой культуры ценность одного и того же понятия может различаться: « <...> границы языка ценностей даже в рамках одной культуры расплывчаты, что особенно заметно при обращении к ценностям конкретных личностей. К тому же ценности могут изменяться в течение жизни этих конкретных личностей. Например, слово *брат* (в значении ‘член семьи’) для некоторых из нас позитивное, для других – аксиологически нейтральное»¹ [Puzynina 2014: 8].

Ценность может служить основанием для оценки или объектом оценки, но при этом акт ценностного структурирования мира никогда не сводится к акту оценивания.

Аксиологическая составляющая наравне с когнитивной лежит в основе языковой картины мира. Х. Ортега-и-Гассет в работе «Две великие метафоры» пишет о том, что измыслить мир, будучи в относительном плену

¹ «<...> granicy języka wartości nawet w obrębie jednej kultury nie są wyraźnie określone, są odmienne w ujęciu różnych osób, zmieniają się też w trakcie życia tych samych jednostek. Na przykład słowo brat (w znaczeniu ‘członek rodziny’) dla jednych z nas jest nacechowane pozytywnie, dla innych jest neutralne aksjologicznie» [Puzynina 2014: 8]. – перевод наш – В. М.

языковой картины мира, – это определить интеллектуальное и эмоционально-ценностное отношение человека к миру в том или ином культурно-языковом социуме, где каждый этнос членит мир по-своему [Ортега-и-Гассет 1990: 68 – 81].

Работы о языковой картине мира в современном языкознании представлены несколькими направлениями: картины мира в типологическом аспекте [Никитина 1993; Толстая 2008], отражение языковой картины мира средствами разных уровней языка [Апресян 1995б; Вендина 1998; Дементьев 2013; Зализняк Анна А., Левонтина, Шмелев 2012], языковая картина мира и метафоры [Арутюнова 1988; Складарская 2004; Телия 1996]; сопоставительные работы о фрагментах картин мира разных языков [Корнилов 1999; Ларина 2013]. Для нас особый интерес представляют работы об аксиологии языковой картины мира [Арутюнова 1984, 1988; Ризунина 1997, 2014; Бартминьский 2005; Зализняк Анна А., Левонтина, Шмелев 2012].

Важно понимать, что в основе лингвокультурных представлений нередко лежат стереотипы, а не объективные, соответствующие действительности представления. И. Ванькова сопоставляет содержание слова *кошка* с точки зрения научной картины мира и обыденной – совмещающей стереотипные знания о кошке (*ловит мышей, лазит по деревьям, пьет молоко*) и реальность с поправкой на изменения, произошедшие в быту людей и их домашних питомцев (*есть кошки, которые не покидают городской квартиры; есть кошки, которых не кормят молоком и которые никогда не ловили мышей*). Слово поглощает многообразие впечатлений, порождаемое восприятием реального мира, «сокращая и <...> моделируя отображение всей суммы представлений <...>, взятых в той или иной этнической традиции» [Ковшова 2013: 26]. И. Ванькова приходит к выводу, что знание лингвокультурных образов и стереотипов необходимо для адекватного понимания текста, узнавания иносказаний в различных видах коммуникации, хотя некоторые из них могут

быть негативно окрашены и требуют критического отношения при перенесении из языковой картины реальности в саму реальность. [Ванькова 2012: 70 – 71].

Языковая картина мира формируется системой ключевых слов (концептов) и связывающих их инвариантных ключевых¹ идей (сквозных мотивов) [Вежбицкая 1996; Зализняк Анна А., Левонтина, Шмелев 2012; Степанов 1997]. За каждым словом «стоит существенный пласт знаний <...> такие знания могут представлять собой знания о концептах объектов, о концептах событий или классов ситуаций и, наконец, о концептах, которые соответствуют представлениям о последовательности событий» [Кубрякова 1992: 25]. Этот пласт знаний известен субъекту речи и может содержаться в значении слова (интегральные и дифференциальные семы) или быть имплицитным.

Русскую языковую картину мира отличает аксиологическая поляризация: противопоставление «высокого» и «низкого», «небесного» и «земного», «внутреннего» и «внешнего» [Зализняк Анна А., Левонтина, Шмелев 2012]. Например, все, что связано с бытом и материальным достатком, часто воспринимается как низкое. Многие понятия существуют в виде бинарных оппозиций: *радость – удовольствие, истина – правда, добро – благо*. Эта двойственность восходит к православию, которое определило черты русской культуры в целом [Лотман, Успенский 1994].

Ю. Д. Апресян сформулировал некоторые «основополагающие заповеди русской наивно-языковой этики» [Апресян 1995б: 351], которые

¹ Заметим, что образ «слов-ключей» не нов. Р. А. Будагов пишет: «<...> нельзя не видеть глубоких изменений, которые претерпела лексика русского языка за одно только последнее десятилетие. Появились не только «слова-ключи», характерные для нашей эпохи. Частично изменились и границы, отделяющие литературную языковую норму от нормы разговорного стиля» [Будагов 1971: 362 – 363]. Интересно, что если в лингвокультурологии ключевые слова представляют константы, «сквозные мотивы», то у Р. А. Будагова и др. исследователей лексики, например, [Денисов 1974] слова-ключи отражают актуальные для эпохи процессы, т.е. динамически изменчивы, непостоянны.

можно воспринимать как тезисно изложенные представления об этических оценках и ценностях в современном русском языке:

‘нехорошо преследовать узко корыстные цели’ (*домогааться, льстить, сулить*);

‘нехорошо вторгаться в частную жизнь других людей’ (*подсматривать, подслушивать, соглядатай, любопытство*);

‘нехорошо унижать достоинство других людей’ (*помыкать, глумиться*);

‘нехорошо забывать о своих чести и достоинстве’ (*пресмыкаться, подобострастный*);

‘нехорошо преувеличивать свои достоинства и чужие недостатки’ (*хвастаться, рисоваться, кичиться, чернить*);

‘нехорошо рассказывать третьим лицам о том, что нам не нравится в поведении и поступках наших ближних’ (*ябедничать, фискалить*).

А. Д. Шмелев считает, что сформулированные Ю. Д. Апресяном максимы могут быть в разной степени применимы и к другим культурам. А. Д. Шмелев совместно с другими исследователями, принадлежащими к новомосковской школе концептуального анализа, предлагает ряд лингвоспецифических мотивов, которые характерны для русского видения мира и русской культуры:

‘в жизни всегда может случиться нечто непредвиденное’ (*если что, в случае чего, вдруг*);

‘всего все равно не предусмотреть’ (*авось*);

‘чтобы сделать что-то, бывает необходимо предварительно мобилизовать внутренние ресурсы, а это не всегда легко’ (*неохота, собираться / собраться, выбраться*);

‘человек, которому удалось мобилизовать внутренние ресурсы, может сделать очень многое’ (*заодно*);

‘человеку нужно много места, чтобы чувствовать себя спокойно и хорошо’ (*простор, даль, ширь, приволье, раздолье*);

‘необжитое пространство может приводить к душевному дискомфорту’ (*неприкаянный, маяться, не находить себе места*);

‘хорошо, когда человек бескорыстен и даже нерасчетлив’ (*мелочность, широта, размах*) [Зализняк Анна А., Левонтина, Шмелев 2012: 13].

Очевидно, что среди названных лингвоспецифических постулатов, имеются и те, которые характеризуют систему ценностей носителей русского языка. Следовательно, такие наблюдения очень значимы для более полного представления об аксиосфере русского языка, но они применимы только к синхронному срезу. Если обратиться к истории языка, то можно увидеть, что некоторые из слов, иллюстрирующих эти наивно-языковые постулаты, наделялись иными оценками, так как обозначаемое ими явление имело иную ценность в диахронном аспекте. Таким образом, возникает вопрос о методике описания аксиологической динамики. При этом мы неизбежно сталкиваемся с вопросами:

- как соотносятся между собой концепт, понятие или слово при описании аксиологической динамики?

- какие методы описания наиболее полно раскрывают именно динамический аспект изменения оценки?

Для ответа на эти вопросы необходимо рассмотреть содержание терминов «концепт», «понятие», «слово» и рассмотреть возможные способы исследования соответствующих явлений.

Работы, посвященные языковой картине мира, неизбежно обращаются к термину *концепт*, определение которого представляет трудности. Традиция осмысления концепта, заложенная работами А. С. Аскольдова и Д. С. Лихачева, продолжается и активно развивается в трудах В. В. Колесова [Колесов 2002], М. В. Пименовой [Пименова 2007], С. Г. Воркачева [Воркачев

2007], З. Д. Поповой и И. А. Стернина [*Попова, Стернин* 2010], Ю. Е. Прохорова [*Прохоров* 2009]. Группа исследователей под руководством В. В. Колесова подготовила «Словарь русской ментальности» [*Колесов, Колесова, Харитонов* 2014], содержащий описание отдельных концептов, которые формируют русскую ментальность.

В. З. Демьянков, исследовавший историю слова *понятие* в русском языке, пишет о его судьбе в научном дискурсе: «“Научное” определение термина *понятие* традиционно относится к сфере логики или философии. Языковеды обычно не вмешиваются во внутренние дела соседних дисциплин.

Возможно, именно поэтому последние десятилетия по-русски в нашей науке часто стали употреблять термин *концепт*, которым философы до этого не злоупотребляли, в лучшем случае считая орнаментальным вариантом термина *понятие*» [*Демьянков* 2012: 120]. Отметим, что в работах польской этнолингвистической школы Е. Бартминьского термины *концепт* и *понятие* нередко используются как синонимы, а также активно функционирует термин *идея*.

В исследованиях языковой картины мира концепт логично связывается с содержанием лексического значения слова и понятием. Н. Д. Арутюнова писала о соотношенности картины мира и системы понятий: «Членение мира не может в точности соответствовать системе понятий. <...> Концепты дискретны, мир континуален. Это позволяет говорить о языковой (концептуальной) интерпретации действительности, зависящей от многих факторов» [*Арутюнова* 1990: 7]. Такой подход объясняет количественную диспропорцию понятий и концептов.

Концепт изменяется в результате когнитивной деятельности человека, что влечет за собой изменения лексического значения слова. [*Никифорова* 2008: 113].

Вопрос о соотношении концепта и понятия положен в основу теоретической базы Русского семантического словаря под ред. Н. Ю.

Шведовой. По мнению Н. Ю. Шведовой, понятие – это сложившееся исторически основание концепта. Н. Ю. Шведова ввела термины *ключевой*, или *великий*, *основной* концепт и *малый* концепт. Ключевой концепт – это «исторически сложившаяся понятийно-языковая целостность, – то есть отлившееся в слово им материализованное, в него вмещенное понятие, – относящаяся к духовному, ментальному миру жизни человека либо к материальной жизнеобеспечивающей, жизнеобразующей сфере его бытия». Малый концепт – «это семантико-понятийная единица, идейно (понятийно) принадлежащая основному концепту, дублирующая строение его смысловой парадигмы, свободная по отношению к социальным иokkaзиональным (субъективным) оценкам и, по сравнению с основным концептом, имеющая собственные семантические компоненты» [цит. по Белоусова, Воротников 2012: 36 – 38].

Концепт, по Н. Ю. Шведовой, материализуется через ключевое слово, а также через ряд слов, заключающих в своей семантике идею концепта. Например, концепт *ложь* раскрывается через такие синонимы и их производные, как *лганьё, лжа, неправда, полуправда, кривда, обман, измышление; дезинформация; враки, враньё, брехня; лжец, лгун, враль, врун, обманщик*; единицы с частью *лже-*, также глагольной и неглагольной признаковой лексикой и фразеологией.

Культурная коннотация в трактовке Н. Г. Брагиной, по нашему мнению, приближается к ценностному компоненту понятия, которое ведет к новому когнитивному уровню – концепту. Термин культурная коннотация берет начало в работах В. Н. Телия о культурно-языковой компетенции. По мнению В. Н. Телия, культурная коннотация – это один из четырех типов культурной информации (наравне с культурными семами, культурными концептами, культурным фоном), который включает «интерпретацию языкового знака на основе ассоциаций с эталонами, стереотипами и т.п. прототипами языка культуры» [Телия 1994: 13 – 15].

Н. Г. Брагина отмечает, что смена культурных коннотаций циклична: «Наиболее отчетливо цикличность смены коннотаций прослеживается на примере слов / словосочетаний, которые в определенный период наделялись дополнительным ценностным смыслом, служили для выражения идеалов общества или отдельной культурно значимой группы» [Брагина 2007: 338].

Цикл существования культурных коннотаций слова разделяется на *ценностный, профанный, иронический и исторический* периоды [Брагина 2007: 339]. Ценностный период связан со строгой регламентацией контекстов употребления, при котором слово выражает некий общественный идеал. Профанный период характеризуется расширением контекстов употребления и нарушением запретов, сформированных на ценностном этапе. Затем происходит обыгрывание коннотаций в ироническом ключе. Наконец, в исторический период наблюдается нейтрализация культурных коннотаций и постепенная утрата их связи с определенным дискурсом.

Когнитивный подход, применяемый при описании языковой картины мира [Зализняк Анна А., Левонтина, Шмелев 2012], продолжает традицию семасиологических исследований и зачастую игнорирует историко-социальные причины смыслового сдвига. Анна А. Зализняк подчеркивает, что исследования языковой картины мира должны строиться на информации, содержащейся в самом языке: «<...> языковую картину мира образуют <...> лишь те смыслы, которые входят в значения языковых единиц» [Зализняк Анна А., Левонтина, Шмелев 2012: 99]. Информация, содержащаяся в текстах, и данные дисциплин, объектом изучения которых является человек (антропология, этнография и т.д.), «могут привлекаться к рассмотрению лишь в той мере, в какой они выражают те же идеи, которые были выявлены при анализе собственно языковых данных» [Зализняк Анна А., Левонтина, Шмелев 2012: 100].

Отказ от диахронического подхода приводит к тому, что описание языковой картины мира, хоть и содержит немало точных замечаний, существует в отрыве не только от истории языка, но и от его носителей.

Ориентация на усредненного носителя русской языковой картины мира исключает из ее описания многообразные социальные разновидности языка, с нередко противоречащими друг другу ценностными установками. Обращение к *истории понятий* может восполнить этот пробел, поскольку ориентировано на отражение динамики – последовательное наблюдение за диахронией, что часто объясняет противоречия в синхронном содержании понятия. Исследование аксиологической динамики сопряжено с изучением механизма трансляции культурных смыслов. Заимствованные концепты со вполне определенным историческим наполнением на русской почве могут освобождаться от прежнего содержания, заполняясь новыми смыслами. Этот процесс описан, например, в очерке Анны А. Зализняк, И. Левонтиной, А. Шмелева о слове *пошлость*, где попутно описано изменение содержания понятий *вульгарный* и *филистер* [Зализняк Анна А., И. Левонтина, А. Шмелев 2012: 136]. Отметим, что в некоторых работах фрагменты языковой картины мира рассматриваются как раз в определенных хронологических рамках [Малышев 2017].

С другой стороны, культурно обусловленный аксиологический компонент может действовать как экстралингвистический фактор, формируя устойчивые коннотации, которые приведут к изменению оценки слова. Отмечается, что в коллективном языковом сознании возможны трансформация, сохранение и угасание аксиологических концептов [Анненкова 2006: 74 – 75; Карасик 2004: 122].

Интерес представляет исследование механизмов и условий апелляции к концепту в эмоциональных / рациональных средствах языка. Ряд исследователей высказывает мнение о том, что национально-культурная специфика социума влияет на способы представления оценки в языке и речи [Вежбицкая 1996; Дейк 1989; Карасик 2002, 2004].

Так как наличие у концепта понятийной составляющей неоспоримо, нам кажется возможным использовать для описания аксиологической

динамики в рамках языковой картины мира концепцию исследования понятия, называемую «история понятий».

2.2. История понятий как метод описания аксиологической динамики

Концепция истории понятий, сформированная под влиянием лингвистических идей Б. Хайдеггера, Л. Витгенштейна и Дж. Остина и философских взглядов Г. Гегеля, И. Канта, В. Дильтея, Г. Риккерта представлена двумя школами – немецкой и кембриджской. Немецкая школа (Begriffsgeschichte) сложилась вокруг трудов Р. Козеллека, О. Бруннера и В. Конце. Кембриджское направление, изучающее историю понятий (history of ideas), опирается на постулаты, которые сформулировал Кв. Скиннером. Русской традиции истории понятий более близка немецкая концепция.

Р. Козеллек совместно с О. Бруннер и В. Конце сформулировал и описал взаимодействие социальной истории с историей понятий, между которыми существует «напряженное отношение, которое отсылает обе истории друг к другу» [Козеллек 2006: 37]. Для направления Begriffsgeschichte изначально свойственно «внимание к слову как таковому, к историко-филологической составляющей анализа интеллектуальных процессов» [Живов 2009: 5].

В. М. Живов, опираясь на работы Р. Козеллека, расширил рамки исследования истории понятий, обратившись к изучению понятий, «определявших культурное сознание многих поколений...», так как «история – это часть культуры, и культура – это часть истории» [Живов 2009: 10]. О глубинной связи языка и культуры, их взаимодействии много сказано в работах [Никитина 1993; Толстой 1995; Телия 1996; Лотман, Успенский 1993, 1994], а В. М. Живов еще раз обосновал возможность изучения культуры через факты языка.

Изучение понятий культуры через текст (в широком понимании) способно отразить те аксиологические установки, которые составляют прагматический уровень структуры языковой личности, включающий набор духовных ценностей и социально-психологических мотивов, отраженный в продуцируемых индивидом текстах. О. В. Хархордин видит в истории понятий методологическую значимость для исторических и социально-политических дисциплин: «Если рассматривать историю понятий как историю типовых речевых актов, схваченных в типичных примерах зарегистрированного словоупотребления, то ясно, что она помогает социологу заметить те аспекты стандартных ситуаций повседневной жизни прошлого, которые послужили прагматическим контекстом или фоном для типичных примеров словоупотребления, теперь опубликованных в историко-этимологических словарях<...>» [Хархордин 2012: 8].

История понятий как направление научной мысли и как частный метод представляет ценность и для лингвистики по ряду причин:

1. потому что понятие, являясь универсальным логико-философским конструктом, входит в том числе в круг интересов лингвистики, в частности семасиологии. Следовательно, изучение конкретных понятий может стать основой более широкого лингвистического и философского обобщения [Блюхер 2012: 24]. Обратившись к работам, выполненным в русле истории понятий, мы заметили сближение собственно понятия с концептом – единицей лингвокультурологии. Такое сближение обусловлено уже отмеченной выше неоднозначной интерпретацией понятия как эквивалента либо как составной части концепта;

2. потому что материалом истории понятий служат высказывания, которые есть не что иное, как реализация языка в действии;

3. потому что история понятий, изначально будучи ориентированной на внеязыковую действительность, может быть своеобразным мостиком между динамическим аспектом языка, культурой и социумом, связывая историческую семантику, прагматику и культурные коннотации слова с

лингвокультурологическим понятием концепта [Живов 2009; Пеньковский 2004]. Таким образом, происходит исследование языкового значения «не в их прямом соотношении с предметами или явлениями действительности, а с помощью картины мира и ее фрагментов» [Ли 1993: 183; цит. по Ковшова 2013: 26].

2.3 История лексики русского языка в зеркале аксиологической динамики

«Лексическая система языка <...> репрезентирует организованную классификацию человеческого опыта» [Вендина 1998: 6]. Постоянно увеличивается количество работ, посвященных истории отдельных слов и разрядов лексики, языку конкретных писателей, исследованию терминологических систем и дискурсов, активизируются дискуссии о языке определенного периода, но исчерпывающего представления об истории лексики они пока не дают.

Еще Ю. С. Сорокин отмечал ряд проблем, связанных с изучением лексики в диахроническом аспекте. В частности, он сетовал на отсутствие достаточно полных и надежных исторических словарей русского языка (впоследствии они появились), недостаток обобщающих исследований, которые бы затрагивали складывающиеся «взаимосвязи отдельных элементов внутри лексической системы и основные направления развития словарного состава языка» [Сорокин 1965: 3]. Проблема, по мнению Ю. С. Сорокина, состоит также в намеренном сужении предмета конкретных исследований до описания языка отдельного писателя или отдельной группы лексики, вследствие чего авторское употребление слова может быть воспринято как тенденция, а собственно языковое изменение истолковано как авторское.

При диахроническом подходе к описанию лексики обостряется проблема тождества слова: языковой опыт исследователя отличается от

языковой практики носителя языка исследуемого периода. Для исторической лексикографии утверждается принцип исторического тождества – теоретическое обоснование объединения разновременных, разнотерриториальных, жан-рово-стилистически неоднородных употреблений слова в пределах одной словарной статьи. В. В. Виноградов писал: «Идеологические противоречия между современным мировоззрением и семантическими системами далекого прошлого часто приводят к искажению смысловой перспективы в истории слова», вследствие чего историко-лексикологическое исследование сталкивается с «опасностью модернизации значений слова, опасностью перенесения современных мировоззрений и категорий мышления на далекие эпохи» [Виноградов 1977: 39 – 40].

Еще более радикальную точку зрения представил Г. О. Винокур, который считал, что литература «<...> есть та ближайшая среда, в которой совершается опосредование общих исторических процессов в применении к языку как орудию литературы. Убеждения же и вкусы самого писателя в области языка, его склонность к тем или иным «принципам» сами по себе, вне историко-литературного контекста, не имеют никакого значения» [Винокур 2006: 135]. Очевидно, Г. О. Винокур, придерживаясь текстоцентрического подхода к описанию языковых явлений, не учитывает, что личные вкусы писателя складываются как раз в историко-литературном контексте, что соответствует взаимодействию «человек – язык – культура – текст». Нам представляется, что личные убеждения и языковой вкус могут влиять на отношение к политике пуризма, которая составляет один из центральных вопросов полемики о развитии русского языка. Кроме того, метаязыковую рефлекссию носителя языка, основанную в том числе на его языковых вкусах, можно сравнить с пусковым механизмом: рассуждая о возможностях системы, предугадывая и проговаривая их, говорящий запускает языковой процесс.

Л. М. Грановская полемизирует с восприятием диахронических изменений как дискретных и отмечает: «В реальной истории языка <...> изменения происходили постепенно, рождая ряд переходных состояний, постепенных сдвигов, которые не всегда проявляются на коротком отрезке времени, где “слово” чаще всего представлен окказиональными допущениями, а социальная локализация и многовариантность стирают остроту этого процесса» [Грановская 2005: 6]. О единстве синхронии и диахронии пишет Г. Н. Скляревская, апеллируя к мнению Ю. С. Сорокина: «<...> в лексической системе синхрония и диахрония нераздельны и нерасчленимы: в каждый момент существования языка лексика сохраняет свою стабильность, только претерпевая непрерывные изменения¹» [Скляревская 1994: 5].

Обусловленность системы ценностей культурно-историческим компонентом подчеркивалась не раз. «Язык и культура – две семиотические системы, существующие в едином смысловом пространстве и взаимодействующие друг с другом в режиме диалога» [Брагина 2007: 337]. Действительно, научно-технические достижения, новые знания об окружающем мире, новые произведения искусства всегда влияют на человека: изменение внешних границ понимания мира изменяет и внутренние границы. Люди по-новому осмысливают прошлый опыт, расставляют приоритеты, вследствие чего изменяется и система ценностей.

Фактически эти перемены ощутимы во всех областях нематериальной культуры. Язык также чутко реагирует на аксиологические изменения, в том числе коррекцией прагматического компонента языковых единиц, изменением оценки слова.

Нам представляется важным предварить свои наблюдения над аксиологической динамикой отдельных слов описанием истории русской лексики в зеркале аксиологии. Безусловно, такой обзор не может

¹ Такая особенность лексической системы замечена еще Ш. Балли и названа Э. Косериу «парадоксом языка» [Косериу 1953: 195].

претендовать на всеохватность, однако он составляет необходимый фон для понимания конкретных изменений оценки лексических единиц.

2.3.1. История лексики русского языка XVIII в.

Исследования по лексике русского языка XVIII в. в первую очередь рассматривают процессы номинации, активизировавшиеся в связи с бурной социально-экономической, общественной и культурной жизнью России. В трудах, посвященных языку и стилю конкретного автора, произведения или художественного направления, наблюдения над лексикой часто соотносятся с замечаниями об аксиологичности текста, об оценке отдельных слов и понятий [Войнова 1994; Кутина 1994; Ковалевская 1994; Петрова 1994; Сорокин 1994]. В работах В. М. Живова, М. Ю. Лотмана, Б. А. Успенского, А. Б. Пеньковского история слова, динамика лексической системы, языковые программы осмысливаются как артефакты, зафиксировавшие изменения в мировоззрении носителей языка, смену ценностной парадигмы в переломный для истории России момент петровских преобразований [Живов 1988, 1996, 1990, 2009; Лотман 1994; Пеньковский 2004].

Хронологические рамки исследуемого периода мы вслед за Словарем русского языка XVIII в. определяем с 1695 г. (начало самостоятельного правления Петра I) по 1803 – 1805 гг., когда язык еще сохранял свойственные XVIII в. проявления недифференцированности смысловых отношений слов-аналогов, зыбкость семантической структуры многих слов.

Литературный язык XVIII в. отличается неустойчивым и противоречивым характером, хотя тенденция к системному упорядочению лексического состава литературного языка уже активно проявляет себя. Носители языка столкнулись с огромным числом новых понятий, явлений и предметов, которые нуждались в номинации. «В сфере концептов культуры в эпоху Петра идет бурное освоение новых концептуальных парадигм <...> Они несомненно представляют собой элементы европоцентрического

процесса модернизации <...> Появление новых реалий и новых понятий создает повышенный спрос на новые слова» [Живов 2009 : 12]

Для процесса номинации этого периода характерно многообразие способов наименования при обозначении одного понятия, следствием чего является высокая степень вариантности, переходящая в лексическую избыточность (*театр – феатр, амбиция – амбицио, промышленничество – промышленность, водопадение – водопад, отзвук – отзвон – отглас*), а также необычайная активность заимствований. Некоторые исследователи видят в освоении заимствованных слов прямой результат культурной революции, принесшей новые вещи и концепты [Cracraft 2004], а следовательно, и новые ценности.

Активизируются все виды номинаций, но в связи с проблематикой нашего исследования больший интерес для нас представляют заимствования и их рецепция в XVIII в., вопрос о церковнославянизмах, отражающий тенденцию к секуляризации и проблема выбора нормативного варианта в связи с языковыми вкусами говорящих, которые могли быть приверженцами иностранного влияния или пуристами. В 20-х и 30-х гг. XVIII в. основной задачей языковой программы было выработать общий тип литературного языка и отобрать материальные средства, которыми этот тип должен располагать. Следствием отбора стало наметившееся разграничение церковнославянских и русских форм и общее направление терминологической обработки языка [Винокур 1997: 133]. По образному выражению В. М. Живова, «книжная лексика и коллоквиализмы оказывались перемешанными в одной корзинке» [Живов 2009: 17], что вело к вовлечению простонародных понятий в книжный язык. Ряд слов, до этого не имевший письменных фиксаций (например, *греховодник, заспать, приспать* [Живов 2009]) занимали место в культурном сознании, взаимодействовали с понятиями элитарной культуры.

К 40-м годам XVIII в. обозначился важный поворот в истории русского литературного языка: поэтика классицизма строилась на иерархической

системе жанров, которая требовала переоценки стилистического потенциала языковых средств и отражения новой аксиологии. По замечанию В. М. Живова, в результате культурного синтеза, объединившего «славенский» и «российский» компоненты, оформляется единый «славенороссийский» язык словесности, который, соединившись с доктриной классицизма, ориентируется на «славянизирующий и рационалистический пуризм» [Живов 1996: 418]. Такая программа развития языка и культуры была, безусловно, искусственной, и отказ от идей культурно-государственного синтеза Просвещения привел к эмансипации духовной культуры от светской, обусловив разделение соответствующих аксиосфер [Живов 1996: 420 – 430].

Важным следствием культурного синтеза стал процесс *секуляризации славянизмов*: слова, усвоенные литературным языком XVIII в. из церковнославянского, получали новое значение, часто аксиологически противоположное тому, которое имели в религиозном дискурсе. Например, слова *мечта*, *мечтание*, *мечтательный* в церковной литературе «обозначают ложные ощущения, возникшие в результате бесовского наваждения», а вследствие секуляризации «получают иное значение – желанного, идеального, возвышенного благодаря соотнесению слав. *мечта* и французского *reue*» [Живов 1996 : 498]. Схожие изменения претерпевают слова *очаровательный*, *страсть*, *страстный*, *обольстительный*, *соблазнительный*, *обожать*, *трогать*, *пленительный*.

2.3.2. История лексики в пушкинское время (20 – 30 гг. XIX в.)

Первая треть XIX в. в России насыщена историческими событиями: участие и победа в наполеоновских войнах, вход русских войск в Париж, восстание декабристов. Русская культура этого периода развивается в тесной связи с культурой европейских стран, сохраняется устойчивое влияние Франции в области искусства и просвещения. Освоению европейских ценностей способствовал возрастающий уровень образования,

ориентированного на энциклопедизм, приобретение всесторонних знаний и расширение кругозора. После войны 1812 г. вновь начали возникать масонские организации с идеологией, «способствовавшей более углубленному отношению к духовному миру человека, проникновению в мир романтики обрядов и символов» [Филин 1981: 9].

Продолжается полемика по вопросам языка, состоящая в противоборстве сторонников Шишкова и последователей Н. М. Карамзина. Возрастает роль журналов в общественном и литературном движении. В этот период издаются «Московский телеграф», «Московский вестник», «Московский наблюдатель», «Телескоп», «Литературная газета», «Современник», «Северная пчела», «Библиотека для чтения», «Полярная звезда», «Мнемозина», «Сын отечества» и др. В них помещают уже не только литературно-художественный материал, но и социально-экономический, историко-философский, критико-публицистический. Доступность новой информации и возможность ее критически осмысливать, формирование общественного вкуса влияют и на рецепцию новых ценностей.

Литературный процесс первой трети XIX в. характеризуется последовательной сменой литературных направлений – классицизм уступает место романтизму, который постепенно вытесняется зарождающимся реализмом. Смена литературных направлений обусловлена в том числе изменениями мировоззрения: «Первоначальным импульсом романтизма был протест против сентиментализма. Последний, в свою очередь, по сути своей был наступлением буржуазной культуры на культуру дворянскую, и шло оно в рамках общего исторического процесса. “Подлинные” культурные и нравственные ценности противопоставлялись развратному образу жизни дворян. Романтический же взгляд объявил сентиментальные ценности филистерскими <...> при импорте в Россию романтический конфликт поневоле утратил свой социальный пафос, ведь вся культура была дворянской <...> протест против буржуазных ценностей не имел под собой

почвы. Он приобрел некий метафизический абстрактно-ценностный характер» [Зализняк Анна А., Левонтина, Шмелев 2012: 135 – 136].

В целом, первая треть XIX в. ознаменовалась расширением состава именной отвлеченной лексики, а также тенденцией к метафорическому употреблению слов разных генетико-стилистических пластов [Филин 1981: 7]. В связи с интересом к внутреннему миру человека, его психическому складу, духовным качествам употребительны отвлеченные существительные со значением качества, свойства и состояния с суффиксом (*бледноватость, безобидность, вкрадчивость, изворотливость*); со значением действия (*нежничанье, остроумничанье, своевольничанье*). Многие из таких слов имеют оценочное значение. Подобные слова, изначально принадлежавшие официально-деловому стилю, начинают употребляться в переписке, научной, публицистической и художественной литературе (*безраздельность, громадность, недоступность, незаменимость, незначительность, неприметность, несвязность, половинчатость, привычность, удаленность, узловатость* и другие). Впервые употребляются такие оценочные слова, как *бездушность, безобидность, вкрадчивость, докучливость, задирчивость, изворотливость, навязчивость, настойчивость, находчивость, неразборчивость, несговорчивость, отходчивость, пугливость, развязность, раздумчивость, рассеянность, расчетливость, светскость, сметливость, стойкость, уживчивость, усидчивость, шаловливость* [Филин 1981: 24 – 25].

Желанием нюансировать, показать тончайшие оттенки свойства или состояния можно объяснить появление слов, называющих опредмеченную степень качества и чаще всего образованных от прилагательных с суффиксом субъективной оценки – *-оват-* : *бледноватость, гладковатость, дуловатость, длинноватость, грубоватость, желтоватость, кривоватость, кругловатость, легковатость, рыхловатость, пестроватость, слеповатость, хриповатость* и др. [Филин 1981 : 26]. Такие слова указывают на аксиологическую градацию понятий. Язык как будто отражает желание человека не просто взглянуть на мир под

максимально увеличивающей линзой, но осязать каждый изгиб, несовершенство формы, слышать каждое колебание. Это очень пристальный и одновременно наивный взгляд на мир. Взгляд неопита, внезапно открывшего для себя вселенную.

Среди прилагательных сохраняется тенденция к расширению круга слов, которые обозначают типическое, характерное свойство человека. Входят в употребление слова *вдумчивый, вкрадчивый, выносливый, запасливый, настойчивый, находчивый, отходчивый, уживчивый, усидчивый, стеснительный, обворожительный¹, угодительный*.

Активизируется образование отвлеченных существительных с оценочным значением, маркированным суффиксами – *щина, -овщина* и называющие социально-бытовые явления и понятия. Их оценочность в основном отрицательная: *бестолковщина, похабщина, самодельщина, латинщина*. К ним примыкают слова, образованные от имен собственных и обозначающие различные литературные направления и стилевые манеры: *сумароковщина, тредьяковщина, хвостовщина* [Филин 1981: 27]. Можно сказать, что в этом словообразовательном типе проявилась аксиологическая закономерность: новое поколение всегда критически относится к деятельности и достижениям своих предшественников. Наличие эмоциональной (положительной или отрицательной) оценки в слове определяется либо характером лексического значения основы (*шмыгнуть*), либо экспрессивно-стилистической окраской словообразующего аффикса (*латинщина*), либо тем и другим вместе (*ловеласничать*).

В. М. Живов считает, что понятийная система русского языка в основном завершает перестройку и характеризуется «сложным синтезом церковнославянского языкового наследия, модернизационных процессов

¹ По данным Национального корпуса слово *обворожительный* начинает фиксироваться с последней трети XVIII в.: *Волтер начинает свою «Генриаду» убиением Генриха III, а оканчивает обращением Генриха IV из одной религии в другую, – но прекрасные стихи его всё делают обворожительным.* (М. М. Херасков. Историческое предисловие к «Россиаде», 1771 – 1779).

XVIII – XIX вв., в ходе которых осваивались понятия новой «европейской» культуры, «простонародного» употребления, игравшего роль своего рода призмы, в которой преломлялись усваиваемые из западной культуры понятия» [Живов 2009: 19]. Если проанализировать тематический состав заимствований, то становится очевидным, что они составляют лексикон носителей дворянской культуры. Можно сделать вывод, что в целом языковая культура первой трети XIX в. ориентирована именно на дворянские ценности.

2.3.3 История лексики в 40 – 70 гг. XIX в.

История русского языка 40 – 60 гг. XIX в. по-прежнему тесно связана с языком художественной литературы и традиционно рассматривается на материале беллетристики, которая в это время сближается с публицистикой. Стилистическое оформление жанров проблемного очерка, социально-философской статьи, критико-публицистической прозы требует «столкновения лексико-фразеологических единиц, разнородных по своим стилистическим и предметно-логическим характеристикам» [Бельчиков 2012: 50]. Обиходно-бытовая, предметная лексика объединяется в одном контексте с книжными словами, называющими абстрактные понятия, в том числе аксиологические. Подобные объединения характерны на уровне словосочетаний для публицистики 60 – 70-х годов: *философский винегрет, ученая крошка, славянофильская кликуша, спячка мозга, шелуха гегелизма* [Сорокин 1965: 517 – 518]. Как отмечает А. Ф. Ефремов, основная функция таких единиц «снизить стиль, принизить противника, задеть за живое и повысить энергию речи» [Ефремов 1951: 360]. Конкретно-предметная бытовая и производственная лексика употребляется метафорически: *безвкусный, водянистый, здоровый, рыхлый, трезвый, узкий, чуткий, деревянный, мелкотравчатый, доморощенный, залежалый, мягкотелый, жгучий, разношерстный, пошиб* [Сорокин 1965: 497 – 498, 500 – 502, 522, 526 – 530].

70-е гг. XIX в., называемые вторым демократическим подъемом, характеризуются острой полемикой о социально-экономической перспективе России. В русских журналах «Отечественные записки», «Вестник Европы», «Слово» обсуждается «Капитал» К. Маркса, ведется спор о теоретических основах политической экономии. Ю. А. Бельчиков отмечает, что для этого периода характерна ретерминологизация лексических единиц, сопровождавшаяся либо генерализацией значения (*реакция, масса, формация, инстинкт, импульс, задача*), либо специализацией одного из значений полисеманта (*базис, класс, кризис, эксплуатация, строй, рабочий, пролетарий*). Специализация значения могла сопровождаться развитием оценки: *Natalie, вы хорошая, идейная женщина* (А. П. Чехов. Жена.) [Бельчиков 2009: 195 – 198].

За разгромом народнического движения в 80-х годах XIX в. последовала эпоха политической реакции, которая возродила интерес к отвлеченной манере изложения, свойственной философии. В литературе эта тенденция проявилась в той лирике чистого искусства (Ф. Тютчев, А. Фет), которая превозносила ценность мирозерцания и внимания к деталям, сближая ее с аксиологическими установками первой трети XIX в.

2.3.4. Лексическая система русского языка и ценности советской эпохи

Наблюдения над лексической системой русского языка различных этапов советской эпохи содержатся в работах различных исследователей [Вайс, Куммер 2013; Гусейнов 2004; Ермакова 1997, 2011; Караулов 1991; Купина 2015; Поливанов 2014 Сарнов 2005; Селищев 1928; Шпильрейн и др. 1928]. Безусловно, советский период, хронологические рамки которого (1922 – 1991 гг.) достаточно пространны, не мог быть абсолютно однородным ни с исторической, ни с лингвистической точки зрения даже при наличии магистральной линии, которая формируется понятием *идеологема*.

Участники дискуссии о состоянии современного русского языка [Караулов 1991], говоря о языке советского периода, единодушно отмечают кризис русской культуры как «результат идеологического насилия над культурой» [Апресян, цит. по Караулов 1991: 21]. Язык, «ввергаемый в крепостное состояние» [Григорьев, цит. по Караулов 1991: 21] стал средством «демонстрации лояльности», которая «повышала ценность уродливых и бессмысленных образований, лишь бы они служили символом правочности» [Гольдин, цит. по Караулов 1991: 21]. Не менее экспрессивны и такие характеристики языка этого периода, как *тоталитарный* (Вежбицка, Караулов, Келлер), *идеологизированный, дубовый* [Караулов 1991: 21], *русский социалистический* [Кронгауз 2016: 81].

Примечательно, что в лингвистической литературе нет принятой периодизации истории русской лексики времен СССР. Некоторые попытки создать такую периодизацию на основе изменений в оценках представителями разных поколений советского общества того или иного идеологически нагруженного словоупотребления находим в работе Г. Гусейнова [Гусейнов 2004: 8 – 10]. Н. А. Купина проанализировала сущность тоталитарного сознания на основе категории сверхтекста, отразив результаты исследования в четырех очерках: апология тоталитаризма (агитационная поэзия В. Маяковского) – сознание жертв тоталитаризма («лагерная» поэзия) – языковое сопротивление (советский политический анекдот) – языковое противостояние (афористика И. Губермана) [Купина 2015]. Нам представляется, что эти сверхтексты могут соотноситься с теми тенденциями, которые определяли специфические черты лексической системы советского периода, в том числе ее аксиологическую составляющую.

Сложность при описании языка советской эпохи составляет также существование так называемого *языка самообороны*¹ (язык сопротивления и

¹ Термин введен А. Вежбицкой для описания антитоталитарного языка в Польше и по отношению к русскому языку в СССР применяется, например, в работе [Гусейнов 2004].

противостояния, по Н. А. Купиной), строящегося на отрицании официальных ценностей, не имеющий письменной фиксации в разрешенной литературе, но живущий в устной речи и самиздате. Лексический состав «языка самообороны» насыщен экспрессивными и эмоционально окрашенными словами: *большевизан, совдетия, совок*.

Г. Ч. Гусейнов считает, что феномен «языковой инвалидности» берет начало в реформе правописания 1918 г.: «Изъятие смысла из слов, выражающих основополагающие ценности, сопровождало глубочайшую перестройку сознания, анализ которой мог бы сделать понятней обстановку доносительства, отступничества, утраты значительной частью носителей языка способности к словесной оценке или даже просто к описанию своего поведения как в то время, так и спустя несколько десятилетий» [Гусейнов 1989: 66].

Зачатки этого дубового языка описывает Е. Д. Поливанов в статье «Облатном языке учащихся и о “славянском языке” революции» (1931), приводя трафаретные выражения и клише (*хищные акулы империализма, гидры контрреволюции, продукт разлагающейся буржуазии*), вошедшие в язык во время революции через публицистику и риторику. Исследователь называет их *мертвыми*, указывая на их автоматизированное употребление и исключенность из живого общения, что и сближает их с церковнославянизмами в языке религии [Поливанов 2014: 318 – 319].

Многие исследования русского языка «советского извода» представляют собой опыт словарей и энциклопедий, упомянем лишь некоторые: О. П. Ермакова «Жизнь российского города в лексике 30 – 40-х годов XX века. Краткий толковый словарь ушедших и уходящих слов и значений», Б. Сарнов «Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма», Г. Гусейнов «Д. С. П. Материалы к русскому словарю общественно-политического языка XX века».

Такая тяга к лексикографической фиксации, как нам кажется, отражает изменение социокультурного и исторического статуса советского наследия.

Оно превращается в материал истории: реалии советской жизни и мировоззрения переходят в категорию исторических фактов, сохраняющих лишь языковое воплощение.

В советскую эпоху связь нормированного литературного языка и идеологии была как никогда тесной: идеология не просто отражалась в слове, но трансформировала языковые единицы под свои нужды и в соответствии с утверждаемыми ценностями. «Советская идеология <...> строилась по принципу бинарных аксиологических оппозиций, т. е. противоположных ценностей типа «свои / чужие», «старое / новое», «общее / частное» и т.п.» [Вайс, Куммер 2013: 28]. Центральной ценностной оппозицией советского дискурса Д. Вайс считает противопоставление квантора общности, свойственного «своим», и квантора существования, свойственного «чужим»: «<...> все, что связано с собственным строем, стремится к тотальности (к тотальному согласию, к тотальному приложению всех сил, к тотальному контролю над событиями, к тотальной ненависти к фашистскому врагу, к тотальной скорби после смерти великого вождя и т.п.), т. е. к тотальному единству всего общества, а все “не-свое” обречено на ущербность, частичность, изолированность» [Вайс, Куммер 2013: 32]. Н. А. Купина пишет, что примат общественных интересов, господство директивного общения, размытость и несущественность этических норм, официоз и ритуальность публичной сферы определяют систему ценностей, закрепленную в сознании носителя языка как единственно верная [Купина 2015].

Взаимодействие ценностной и понятийной системы советского дискурса основывается на идеологемах. Идеологема – это «знак или устойчивая совокупность знаков, отсылающих участников коммуникации к сфере должного – правильного мышления и безупречного поведения – предостерегающих от недозволенного» [Гусейнов 2004: 14].

Для русского языка этого периода характерен семантический примитивизм – вытеснение смыслов во имя идеологического содержания.

Отражением этого процесса являются идеологически обусловленные семантические оппозиции: *революционный / контрреволюционный*. Ее частными случаями являются оппозиции *красный – белый, вражеский, враждебный; левый – правый; советский – антисоветский, буржуазный, западный, английский, американский; коммунистический – антикоммунистический* [Купина 2015: 13 – 15]. Всё, что оказывалось во второй части оппозиции, претерпевало устранение исторически сложившейся семантики и приобретало отрицательные коннотации (*аристократ, аристократизм, важный, вельможа, враг*).

Н. А. Купина показала, что слова-идеологемы достаточно быстро охватили сферы политического, религиозного, философского, этического, художественного и правового дискурсов. Именно сфера политического и обусловленного учением Ленина – Сталина коннотировалась положительно и должна была заменить собой традиционную духовность. Стремительный рост номинаций, формирующих эту часть языкового сознания, отражает этот процесс: *политчас, политдень, политпросветчик, политотдел, политрук, партработа, парторг, партячейка, пролетарская партия, партийность, партсъезд, генеральная линия партии, новаторство, ударничество, пропаганда*. Всё, что не вписывалось в идеологию ленинизма, оценивалось как чуждое, а следовательно, отрицательное: *оппортунизм, троцкизм, реакционный, националистический, буржуазный, ревизионизм, центризм, либерализм, социал-нацифизм, левачество, шовинизм* [Купина 2015: 20 – 29].

Лексика религиозной сферы «переворачивается», получая оценку, несвойственную ей первоначально: *безбожник, вера, крещение, религия, скверна*. Слово *религия* выступает как антоним слова *наука* и включается в синонимический ряд со словами *мистика, фантастика*.

Как протест против ценностей, провозглашенных официальной идеологией, существовал язык самообороны. Его энергия была направлена на деидеологизацию и демифологизацию. Они выражались в переосмыслении

аббревиатур, семантических преобразованиях ключевых слов тоталитарного языка и деформации прецедентных текстов.

Таким образом, общие аксиологические тенденции в лексике русского языка советского периода можно обозначить как формирование языка новой советской идеологии. Язык этого периода отразил искажение и обесценивание прошлого опыта русской культуры, которое проходило при изменении состава тех носителей языка, чьи языковые вкусы были значимы. Одновременно с официальным языком существовал «язык протеста», отразивший развенчание официальных ценностей.

2.3.5. Лексика русского языка в зеркале современных ценностей

Перестройка (1989 – 1991 гг.) и распад СССР стали, по определению Г. Ч. Гусейнова, Большим Рубежом, означающим «завершение многовекового исторического цикла и одновременно начало неведомой новой эпохи истории России» [Гусейнов 2004: 7]. Эта новая эпоха, конечно, принесла и аксиологические изменения.

По мнению Л. М. Грановской, литературный язык последних десятилетий XX века свидетельствует о возвращении многих утраченных ценностей [Грановская 2005]. Этому способствовало знакомство читателей с литературой русской эмиграции, возрождение религии, восстановление традиции литературы и публицистики религиозно-догматического толка, влияющих на когнитивную и духовную сферы языкового сознания [Грановская 2005; Шмелькова 2010; Караулов 1991; Складневская 1994]. Возвращается в язык и освобождается от советских идеологических наслоений терминология, связанная с православием (*двуединство, боговоплощение, богочеловечество, вочеловечение, вероучительный, священномученик*) и другими верованиями и религиями (*карма, реинкарнация, гуру, даосизм, экуменист, махаяна*).

С другой стороны, отказ от советских идеологем все же не означает однозначного принятия традиционных ценностей, о которых пишет Л. М.

Грановская, напротив, наблюдается люмпенизация языка, вследствие выдвигания социальных слоев, общая культура которых низка.

Нестабильность ценностных ориентаций отражается в интенсивном потоке сниженной и низкой лексики, жаргонизмов: «<...> 90-е стали вторым (после 20-х) моментом, когда вторжение новых и активизация прежде освоенных вульгаризмов приобретает лавинообразный характер: *бардак, дурдом, выпендрез, жлоб, мандраж, занюханный, зачуханный, офонареть, раздрай, раскурочить, не светит 'не удастся', туфта 'подделка, обман', тягомотина, на халяву, ханыга* – вот ничтожная часть потока, <...> проникающего в некоторые достаточно высокие жанры, в том числе, в публицистику, в экономические обзоры и т.д.» [Скляревская 1994: 11]. Необычайно активны заимствования, вторжение которых в язык никак не контролируется: *консенсус, приватизация, презентация, менеджер, рэкет, маркетинг, брокер, брифинг, рейтинг, популизм, триллер, сейшн, плейер, тинейджер, хит-парад, шоу-бизнес, эксклюзивный, спикер, спонсор, скрининг, имидж, истеблишмент*. Характеризуя состояние русского языка этого времени, В. В. Колесов рассматривает существенные изменения в словарном фонде как симптом концептуально-культурных изменений в национальной картине мира: «Естественное развитие национального языка во всей его концептуальной силе было сначала снято заменой отвлеченными терминами квазихристианской культуры, которая ныне выдается за коренную русскую (я историк, и потому под русским понимаю широко восточнославянское), а сегодня – уничтожается подменой абстрактно пустыми терминами наднациональной культуры: торжество становится фестивалем, собрание – форумом, совесть – сознательностью, соборность – коллективом, служба – сервисом, любовь – сексом, согласие – консенсусом и пр., – сотни других ключевых слов культуры... Даже в 4-томном Словаре осталось не много ключевых слов русской ментальности (мы проделали работу по их выявлению и – увы! многого не досчитались)» [Колесов, цит. по Караулов 1991: 12].

Таким образом, период перестройки по активности преобразования языка напоминает 20-е гг. XX в. Девальвация советской идеологии привела, с одной стороны, к возвращению традиционных ценностей дореволюционной эпохи. С другой стороны, язык отразил стремительное поглощение новых знаний о западной культуре и, соответственно, западных ценностных установок.

2.3.6. Современный этап развития лексики

Распространение интернета расширило коммуникативные возможности людей, сделало социокультурные границы более проницаемыми. Хотя, по нашему мнению, проницаемость все же не означает полной открытости для влияния или готовности взаимодействовать.

Современные лингвисты по-разному оцениваются активные процессы в лексике русского языка. В. В. Колесов негативно воспринимает происходящие изменения, видит в них опасность для самоидентификации и сохранения самобытности русской ментальности и призывает к их критической оценке: «<...> наше мыслительное пространство искривлено неорганическим вторжением чужеродных ментальных категорий» [Колесов 1993: 124]. Более оптимистично воспринимают происходящие изменения, с интересом наблюдая за ними и не считая новые явления порчей языка, такие исследователи, как И. Б. Левонтина, М. А. Кронгауз [Левонтина 2016; Кронгауз 2012, 2016]. Каждый из них также отмечает смену идеологических и ценностных установок, происходящую в различных зонах языкового пространства.

Наиболее полно аксиологические изменения в лексической системе русского языка обрисовал Т. Б. Радбиль. Он отмечает две тенденции: с одной стороны, лексика русского языка продолжает отражать традиционные ценности русской языковой картины мира; с другой стороны, в современное русское концептуальное пространство проникают новые, инокультурные и

иноментальные установки, транслирующие несвойственные ранее ценностные ориентиры [Радбиль 2015: 10].

В частности, Т. Б. Радбиль отмечает тенденцию «маркировать эмоционально или ценностно значимый <...> объект формой мужского рода, даже если в норме такая форма образована быть не может:<...> *выхожу из “Кольца”, а мой машин на эвакуаторе красуется...* Здесь можно видеть стремление говорящего “повысить” значимость объекта номинации за счет придания ему более “мужественной” формы рода» [Радбиль 2015: 13]. Исследователь видит в этом примере рефлекс маскулиноцентричности русского языка, и приводит другие языковые примеры, отражающие изменение статуса женщины в общественном сознании¹.

Однако нам представляется, что описанный Т. Б. Радбилем случай окказионального изменения рода существительного *машина* на мужской **машин* отражает не только повышение значимости объекта, но и психологическую солидаризацию ‘владелец (мужской пол) – предмет, принадлежащий владельцу мужского пола; предмет, относящийся к сфере мужских интересов (мужской род)’. Кроме того, важна иконичность: мужским родом может маркироваться большая машина, которую, скорее, выберет мужчина. Таким образом, представление об аксиологической значимости объекта, нашедшее выражение в грамматической категории рода, по нашему мнению, устанавливает связь с психологией и стереотипами ценностного сознания и с природой знака.

Другие источники [Вепрева 2012; Ефремов 2010; Норман 2006] описывают обратную аксиологически значимую тенденцию – феминизацию. Она состоит в увеличении числа слов, называющих женщин. Как отмечает И. Т. Вепрева, феминитивы в русском языке испытывали две тенденции: *социализацию* (маскулизм) – неразличение пола, формирование общего рода, и *индивидуализацию* – «способ маркировать неповторимость женской

¹ Например, недопустимое ранее сочетание *вдовец* + существительное женского рода в форме родительного падежа: *вдовец Людмилы Гурченко, вдовец Любови Полищук*.

сущности, в тех классах существительных, в которых есть сильное женское начало – в классе производных одушевленных существительных с суффиксами женскости» [Вепрева 2012: 95]. Распространенность существительных, называющих лицо женского пола с суффиксами – *ш*, – *к*, – *ниц* (*касси́рша*, *астро́логша*, *ауди́торша*, *аукцио́нерша*, *авторитетша*; *авторка*, *юристка*; *предпри́нимательница*, *телохранительница*) в публицистике и языке интернет-коммуникации отражает социальную значимость женщины в современном обществе. Изменение ценностного представления о месте женщины в общественной жизни проявляется в постепенной утрате оценочности суффиксом

-ш-, который ранее выражал уничижительность: ср. *А гороскоп это я заказывала у одной очень выдающейся астро́логши* (Семья, 02.06.2000) [Вепрева 2012: 97]. Подтверждением экстралингвистических изменений и собственно описанного языкового явления служит и появление Толкового словаря названий женщин под ред. Н. П. Колесникова (2002).

В современной русской лексике отчетливо проявляется тенденция к немотивированному употреблению максимально экспрессивных, оценочных, стилистически нагруженных единиц в нейтральных контекстах: *Разве это обязывает его отказаться от обычной, средней квартиры с обоями чуть покраще и мебелихой чуток деревяннее?* [Радби́ль 2015: 15]. Несвойственным для русской языковой картины мира, инокультурным способом выражения оценки Т. Б. Радби́ль считает расширяющееся употребление компонента *плюс*: *Плюс Фильм студио, Питомник-плюс, ассоциация детских лагерей «Дети плюс», портал для семьи «Мама Плюс»*. *Плюс* – рациональная оценка, пресуппозитивно содержащая компонент ‘количество’ (*много / мало*), по мнению Т. Б. Радби́ля, неуместна в зоне экзистенциальной оценочности, интерпретирующей вечные ценности (семья, любовь и т.д.). Мнение Т. Б. Радби́ля кажется нам слишком категоричным, так как подобная аналитическая конструкция может быть интерпретирована и как ‘в плюсе’, ‘с плюсом’.

Оригинальным представляется нам взгляд Т. Б. Радбиля на «исконно чуждые русской концептосфере ценности индивидуализма, карьеризма, амбициозности, утилитаризма и пр.», которые эксплицируются в словах *амбиция, амбициозный, элитный, эксклюзивный, прагматичный, гламурный, карьера, шок, шокировать, агрессивный*. На эти слова – символы идеологии потребления и рейтинговости, уже обращали внимание лингвисты [Кронгауз 2012; Левонтина 2016; Никипорец-Такигава 2006]. В указанных работах отмечаются семантические и оценочные изменения этих слов, обусловленные динамикой ценностных представлений. И только Т. Б. Радбиль, назвав их аксиологемами псевдоценности, отметил «их определенное отторжение, неприятие посредством возникновения нерелевантной, неосознанной отрицательной оценочности при употреблении номинативных единиц подобного типа» через метаязыковые комментарии *в хорошем смысле этого слова* и при погружении их в репрезентативный контекст *погрязнуть в (чем-л.)* [Радбиль 2015: 18 – 21].

Современная лексика отражает эклектику аксиологической системы носителей русского языка, совмещающих традиционные ценности с ценностями заимствованными.

2.4. Внеязыковые причины и внутриязыковые механизмы изменений оценочной характеристики слова

Как отмечал О. Н. Трубачев, «<...> Язык отражает внеязыковую действительность преломлено. Оскудение последней в целом не грозит языку оскудением, наоборот, вызывает в нем диаметрально противоположное явление (в основе своей болезненное, но это в большей степени болезнь не языка, а внеязыковой действительности)» [Цит. по Караулов 1991: 12].

Мы попытались выделить и обобщить те экстралингвистические факторы, которые влияли на изменения ценностных представлений носителей русского языка и определили изменения оценочного компонента отдельных лексических единиц. Естественно, что экстралингвистические

факторы влияют в первую очередь на прагматику лексической единицы, придавая ей дополнительные эмоционально-оценочные смыслы. Укоренение же этих смыслов оформляется внутриязыковыми процессами, определяющими движение оценочного компонента с периферии к ядру лексического значения. Мы считаем, что изменение оценки слова определяется комплексом взаимодействующих факторов и процессов. Следовательно, выделить единственный процесс, определяющий изменение оценки слова, – это прибегнуть к излишнему обобщению и зафиксировать точечное явление вместо отслеживания полной картины.

1. Экстралингвистические причины изменений оценочного компонента включают **социокультурные, общественные и психологические факторы**. Они затрагивают узловые для истории России события и отражают зависимость языка как явления культуры от мировоззрения его носителей. Среди таких факторов могут быть выделены:

- секуляризация русской культуры в XVIII в., следствием чего становится переосмысление понятий, наделение слов новым значением, оценочная энантиосемия (*мечта, мечтание, страсть, страстный, обаяние, обаятельный, соблазнительный, прелесть, прельщать, прелестник, восхищение, страхование, уныние*);

- периоды демократического подъема и эпоха «безвременья», формирование принципов национальной идеологии (*патриот* – отриц. оценка в демократической печати к. XIX – н. XX вв., т.к. контекстуальный синоним – монархист; *интеллигенция* vs *образованное общество; мещанский, мещанство, мещанин*);

- советская идеология, определившая оформление идеологием (*пионер, гордость, смирение, космополитизм, доносить* – *сигнализировать*);

- «десоветизация» (элиминирование слов и компонентов значений, связанных с марксистской идеологией – *акула капитала, буржуазный экономист, наймиты капитала*; лексическая деархаизация);

- новые ценностные установки («общество потребления»:
амбициозный, карьера, успешный, эффективный);

- разница оценочного компонента слова в общелитературном языке,
жаргонах и социолекте (*козёл, ботаник*)

Особо хотелось бы подчеркнуть влияние на аксиологическую динамику **изменение состава носителей языка, формирующих представления о норме, сословно-социальные языковые вкусы и их перемены.**

Естественно, что изменения исторического фона не может пройти бесследно для носителей языка. Смена общественных классов, формирующих представление о норме, также может стать причиной изменения оценки слова. Е. Д. Поливанов называет такие изменения «сдвигами в социальных субстратах языковых систем (и элементах этих систем)» [Поливанов 2014: 317]. Например, при исследовании русского языка XIX в. нельзя не учитывать, что культура словесности этого периода дворянская, соответственно, оценочные смыслы отражают ценности именно этого сословия. Установление советской власти переосмыслило и отвергло дворянские ценности как не соответствующие пролетарским идеалам. Как следствие, слова, оказавшиеся социально, сословно маркированными, изменили оценочность. Безусловно, противопоставление дворянских и пролетарских ценностей – это пример, построенный на резком контрасте, тогда как в истории русского языка XIX – XX вв. были и менее заметные примеры изменения оценки слова в связи с сословно-социальными установками. Наиболее ярко языковые предпочтения общества обычно выражаются в отношении носителей языка к заимствованным словам, где соперничают стихийное заимствование и пуристические тенденции. Если в XVIII – первой половине XIX вв. речь, инкрустированная заимствованиями, в том числе варваризмами, престижна, то в 70-е годы XIX в. слова вроде *амбре, пардон, мерси* оказываются фамильярно-сниженными, отражают языковые вкусы мещан и прислуги. С другой стороны, Л. Грановская указывает на исключительно дворянскую языковую моду того же времени

описывать родственные связи не отражающими традиционную культуру номинациями (*шурин, золовка, деверь, сноха*), а французскими *бофрер, бельсёр* [Грановская 2005].

Интересную зависимость отношения к диалектизмам, жаргонам и сниженной лексике от социального происхождения говорящего отметил В. М. Алпатов. Расширение слоя образованного населения в послереволюционные годы происходило за счет двух групп: тех, кто владел просторечием или диалектами, и тех, для кого русский был неродным. Овладевая русским литературным языком, эти люди воспринимали норму как престижный вариант, отказывались от региональных форм языка и сниженной лексики и в целом проявляли себя как приверженцы пуризма. Люди, владевшие литературной нормой с детства, более лояльно воспринимали приметы социального снижения стиля [Алпатов 2014: 37 – 39].

Внутриязыковые механизмы изменений оценки, как уже было сказано выше, переплетаются в истории лексико-семантического развития слова. Для этого раздела работы мы условно их разделили, но из практической части диссертации будет очевидно, что чаще всего эти процессы друг друга дополняют, хотя определенные закономерности в их последовательности всё же присутствуют. Кроме того, при описании аксиологической динамики иногда сложно разделить собственно внутриязыковые причины изменения оценки и их результаты. С некоторым обобщением можно говорить о функциональных (например, ироническое употребление) и историко-лингвистических (вторичное заимствование) внутриязыковых причинах изменения оценочного компонента слова.

В некоторых случаях результат изменения, завершающий некую фазу развития слова (например, сужение значения или достижение энантиосемии), запускает следующий виток аксиологической динамики.

Поэтому приведенный ниже список внутриязыковых причин изменения оценки не претендует на полноту и однозначность и, вероятно, может быть дополнен. Отдельные его пункты описаны более пространно, что

связано с достаточно подробным освещением их в лингвистической литературе.

- **Семантические сдвиги** (расширение / сужение значения: *добросовестный, клевет, ватага, идейный*; метафоризация; метонимизация).

Семантическая структура слова является подвижным образованием, которое может различаться по своему объему и содержанию на разных исторических этапах. Например, слово *подъсъсти* – ‘насесть, напасть’ [Срезневский Т. 2: 1070] в русском языке XIX – XX вв. приобрело значение ‘*сесть около кого-, чего-нибудь, рядом с кем-, чем-н.*’ж. **Сужение** значения сопряжено с изменением оценки.

В древнерусский период слово *рухлядь* значило ‘движимое имущество, пожитки; товар’ [Срезневский Т. 3: 199]. В современном русском языке оно имеет значение ‘*Старые, пришедшие в негодность вещи домашнего обихода, одежда; старье*’ [МАС Т. 3: 742].

Расширение значения слова, возникновение лексико-семантических вариантов полисеманта отражают развитие человеческого мышления: появление переносных значений закономерно, поскольку мышление образно. Сужение значения и уменьшение числа лексико-семантических вариантов полисеманта может быть обусловлено устареванием значения, связанным с утратой реалии, обозначенной этим словом; появлением более престижного названия (часто – заимствованного). Ср. *поганый* – ‘1. Язычник. 2. Неправо верующий, еретик. 3. Неправославный, нехристь. 4. Иноземный, чужеземный. 5. Необразованный, грубый’ [Срезневский Т. 2: 1011 – 1012]. У В. И. Даля фиксируется значение ‘1. Гадкий, мерзкий, пакостный, скверный’ [Даль Т. 1: 152 – 153], которое стало основой для современной отрицательной оценочности слова *поганый* [Никифорова 2008: 44 – 48].

Замечательный пример изменения лексического значения слова, основанный на **метафоризации**, с последующим развитием оценочного значения представляет слово *филон*. В условных старинных языках русских торговцев и ремесленников (в частности, шерстобитов и пимокатов) слово

филон – *филоны* обозначало полати (дощатый настил для сна под потолком). Труд жгонов (пимокатов) был тяжел, поэтому «... излишнее пребывание жгона на полатах-филонах считалось отлыниванием от работы, что отражено в жгонском отыменном глаголе: Филонить. Отлынивать от работы, лениться, бездельничать» [Добродомов 2004: 30 – 37]. Характерна такая словарная иллюстрация: *Жгону не поседмать на жагре, надо тирить упаковки – пимокату не посидеть на заднице, надо катать валенки* Таким образом, безоценочная предметная номинация была метафорически переосмыслена и приобрела отрицательную оценку. Надо заметить, что перерождение слова *филон* сопровождается грамматическими изменениями (утрачивается форма *Pluralia tantum*), возрастает словообразовательная активность (*филон*, *филонщик*, *филонство*), преодолевает границы профессионального жаргона.

Метонимизация (*публичный, успешный, креативный*¹) также может быть внутриязыковой причиной, запускающей перемену оценки. При этом развитие оценочного значения при метонимическом переносе сопряжено с переходом относительного прилагательного в качественное и образованием стяженной конструкции: *креативные способности – человек с креативными способностями – креативный человек*.

- **Энантисемиа** – внутрисловная антонимия, которая может затрагивать не только сигнификативный компонент, но и оценочный (*прелесть, мзда, возмездие, воздаяние*). Это явление очень часто встречается в процессе перемены оценки слова на противоположную, причем может играть и роль причины, и роль результата в аксиологической динамике слова. С одной стороны, энантисемиа представляет собой точку динамического равновесия, в которой как будто застывают отрицательная и положительная оценочность (см. анализ слова *благоверный*), а определение оценки в этом случае зависит от контекста. С другой стороны, достигнутая фаза оценочной

¹ Примеры метонимизации взяты из работы О. П. Ермаковой [Ермакова 1996].

энантиосемии может запускать другие процессы, определяющие изменение оценки (см. анализ слова *доброжелатель*).

- **Вторичное заимствование** (*монстр, деликатный, агрессивный*) представляет собой достаточно сложное для лексикографической фиксации явление. При вторичном заимствовании уже известное языку слово заимствуется повторно из другого языка, при этом может трансформироваться и значение, и оценочный компонент такой лексической единицы. Например, слово *монстр* изначально было заимствовано из французского языка с отрицательно-оценочным значением ‘чудовище, урод’. Под влиянием английского *monster*, имеющего дополнительное значение ‘что-либо громадное’ заимствование *монстр* приобрело положительную оценку ‘нечто значительное, выдающееся’: *монстр шоу-бизнеса* [Крысин 2004: 224; Никипорец-Такигава 2006].

- **Ирония (ироническое употребление)** – употребление слова в значении противоположном словарному. Например, *Он настоящий клад!* (положительная оценка) – *Ну и клад тебе достался: всё у него из рук валится* (отрицательная оценка). О. П. Ермакова считает именно иронию отправной точкой развития оценочной энантиосемии [Ермакова 2005]. Отметим, что ироническое употребление слова нередко обозначается графически – с помощью кавычек, а также может сочетаться с метаязыковыми указателями (*в переносном смысле, в ироническом смысле, не в прямом смысле*).

- **Лексико-грамматические изменения** такие, как, в частности, переход относительных прилагательных в качественные (*чреватый, заразительный, обворожительный, поразительный*), закрепляют семантические изменения слова и перемену оценки. Например, относительное прилагательное *заразительный*¹ изначально имело значение ‘заразный’ (*заразительные болезни*) и отрицательную оценку. Семантический сдвиг на основе метафоры (*заразительный смех*) закрепил

¹ В XIX в. значение прилагательных на – *тельный* в целом ближе к причастиям.

положительную оценку, при этом прилагательное перешло в разряд качественных.

- Под «**контекстной привязанностью**» мы понимаем целый ряд факторов, в разной степени влияющих на аксиологическую динамику и касающихся синтаксиса. Мы обозначали эту группу термином, который использует В. Н. Голодная, описывая оценочность на материале английского языка [Голодная 2005]. Контекстная привязанность раскрывается через такие явления, как **уточняющие определения** (*сатанинская прелесть*, см. раздел о слове *прелесть*); **фразеологизированные конструкции** (*судить на мзде, чреватый + Т.п. (дождем, рудами, последствиями, неприятностями)*); **способность сочетаться с противонаправленными прагматическими компонентами** (*сулить успех – сулить поражение, огрести кучу денег – огрести по шее, причинять зло – причинять добро¹*).

2.5. Выводы

Во второй главе мы рассмотрели проблемы описания аксиологической составляющей русской языковой картины мира и отметили попытки исследователей (Ю. Д. Апресян, А. Д. Шмелев, Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина) раскрыть некоторые закономерности, которые касаются ценностных представлений, закрепленных в сознании носителей языка и отраженных в лексике.

Мы представили преимущества описания аксиологической динамики на основании концепции истории понятий и традиции исторической лексикологии. Концепция истории понятий предполагает изучение понятий культуры через текст, отражающий аксиологические установки, которые составляют прагматический уровень структуры языковой личности. Они объединяют набор духовных ценностей и социально-психологических

¹ Такое употребление было актуально до середины XIX в. В современном русском языке выражение *причинять добро* возрождается с отрицательным ироническим значением 'действовать во благо кому-либо вопреки его желанию'.

мотивов, отраженный в продуцируемых индивидом текстах. Нам представляется, что обращение к истории понятий как частному методу исследования позволяет описать аксиологическую динамику как непрерывный процесс и учесть многообразие факторов, влияющих на изменение оценки.

Мы предложили обзор истории русской лексики XVIII – XXI вв. в свете аксиологической динамики, поскольку считаем его необходимым фоном для наблюдения над оценочными изменениями отдельных лексических единиц. И хотя это описание историко-лингвистического фона не всегда последовательно и не вполне исчерпывающе, оно позволило, во-первых, наметить те временные отрезки, на которых гипотетически оценочность слова может изменяться, во-вторых, представить аксиологическую динамику как непрерывный процесс, в-третьих, заметить некоторую цикличность аксиологической динамики и тех процессов, которые ее определяют. Например, пуристические тенденции конца XVIII в. – начала XIX в. перекликаются с началом XXI в., а языковая активность 20-х гг. XX в. напоминает тенденции языка перестройки.

Большую сложность представляет выделение внутриязыковых причин изменения оценки, поскольку они могут взаимодействовать, совпадать во времени, становясь итогом одной фазы и запуская следующий этап аксиологической динамики.

ГЛАВА 3

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА РУССКОЙ ЛЕКСИКИ НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНЫХ СЛОВ

3.1. Выбор способа описания материала

Исследования лексики русского языка чаще производятся на основе описания достаточно обширного материала, объединенного общностью семантики, принадлежностью к одной лексико-семантической группе или полю. Такие работы, безусловно, важны: они создают лексическую панораму, доказывают, что отмеченное явление представляет собой тенденцию.

Однако не менее значимы так называемые микроисследования лексики – описания конкретных слов и их значений. Безусловно, показателен здесь пример работы В. В. Виноградова «История слов», включающий больше 1000 очерков и заметок об истории конкретных лексических единиц. Успешная попытка продолжить традицию диахронического описания отдельных слов – сборник «Два века в двадцати словах» (2016), где на основе данных Национального корпуса русского языка описаны изменения в семантике двадцати русских лексем с начала XIX века по современность. Очерковая форма описания отдельных лексических единиц, как нам кажется, может удачно дополнить лексическую панораму, так как показывает взаимосвязь различных исторических периодов и языковых процессов.

Именно формат описания отдельной лексической единицы показался нам удачным для раскрытия аксиологической динамики. Как уже было сказано выше, ценностные изменения языковой картины мира затрагивают и концепты, и понятия, а наиболее ярко отражаются в изменении оценочности слова. Материалы Национального корпуса русского языка дают достаточно обширный материал для фиксации и описания этих изменений,

одновременно формируя ту базу исторически и культурно значимых, хронологически расположенных текстов, которая необходима для наблюдения над историей смыслов и которая позволяет применять частный метод истории понятий. При этом мы не стремились к статистической обработке языковых данных, поскольку объемы заданных подкорпусов НКРЯ за определенные исторические промежутки непропорциональны, что усложнило бы описание и при этом сделало его более относительным. Кроме того, мы прибегали к поиску репрезентативных контекстов в интернете, обращая особое внимание на высказывания, содержащих метаязыковую рефлексию.

Для описания мы выбрали временной отрезок с последней трети XVIII в. по начало XXI в. Такой выбор обусловлен тем, что именно в последней трети XVIII в. понятийная система русского языка находится в завершающей стадии изменений, связанных с процессом синтеза церковнославянского наследия и традиционной культуры с западной понятийной системой. К тому же это обусловлено достаточным объемом подкорпуса последней трети XVIII в. НКРЯ по сравнению с более ранними периодами, хотя в некоторых случаях мы обращались и к хронологически более ранним контекстам.

Отбор слов для описания определялся несколькими критериями. Мы стремились показать многообразие процессов, задействованных в динамике аксиологии, зависимость изменения оценки слова от различных факторов. Перечень слов, историю функционирования которых затронуло изменение оценочности, обширен: *амбиция, амбициозный, велеречивый, выхваляться, выпренье, выпроводить, возмездие, вития, витийство, вымышление, вертеп, великорослый, великовозрастный, ватага, красивость, кураж, клевет, краснобай, красноречие, довольство, довольствоваться, благовидный, сподобиться, маразм, мытарь, мзда, магарыч, энтузиазм, идиот, исчадие, искушать, заразительно, замечательно, добросовестный, дева, годный, блудный, бесцеремонный, блажить, благолепие, честить, худой, физиономия, убожество, усугубить, умник, умствовать, чинить* –

учинить, тварь, пошлый, сожительство, судилище, содрогание, светоч, сборище, самодовольный, страсть, страхование, смириться, соблазн, смущаться, славный, стяжать, распинаться, рассадник, ревность, развязный, поплатиться, по милости кого-л., поветрие, наглый, плодить – плодиться, позыв, подвиг, поучать, пятнающий, праздный, покрывать, первостатейный, отродье, отповедь, обаятельный, очаровательный, изумиться, изумительный, информировать, информатор, мещанство, чистка, пресловутый, унылый, лихой, удалой, провинциал, неповоротливый, обворожительный, ябеда и др.

Приступив к работе, мы обратили внимание на то, что многие слова, изменявшие оценку, частично описаны. Причем эти исследования чаще всего не касались собственно аксиологической динамики, а затрагивали изменения семантики слова в целом или описывали один из этапов функционирования слова. Такие работы были в разной степени подробны, от односложного упоминания в качестве примера до развернутого описания (например, описание слова *замечательный* встречается в работах [Балалыкина 2012; Виноградов 1999; Колесов 1999; Никифорова 2008]). В связи с этим мы старались отобрать слова, описание которых наименее полно или содержит неточности.

3.2. Аксиологические изменения слов-композигов с оценочным элементом

Многие слова-композигов содержат элементы *добро-*, *благо-* и *зло-*.

Синхронное функционирование слов *добро*, *благо* и *зло* как аксиологически значимых рассматривалось в работах [Арутюнова 1999; Колесов 1999; Зализняк Анна А., Левонтина, Шмелев 2012; Добрушина 2014]. Если резюмировать их содержание, то можно тезисно перечислить такие важные наблюдения:

1. Сфера положительного ('добро') в русской ментальности выражается степенями, сфера негативного ('зло') не варьируется. [Колесов 1999: 35].
2. Слово *добро* выражает этическую оценку, а *благо* – утилитарную [Левонтина 2004]. В религиозной сфере слова *добро* и *благо* отражают абсолютные ценности, слово *добро* содержит этико-нравственную оценку, а *благо* – сакральную [Добрушина 2014].
3. Неоднократно отмечается энантиосемия корня *благ-* в диахронном аспекте [Дронова 2005; Генералова 2007; Добрушина 2014].

Иначе обстоит дело с компонентами *добро-* и *благо-* в составе композитов. Для семантики композитов характерна гибридность: значение многоосновного слова формируется из значений частей, которые вдобавок вступают «в непростые объектно-субъектные и др. отношения в пределах структуры одного слова» [Никифорова 2005].

Естественно, что изначально оценочное значение первой основы определяет оценочный знак всего слова:

ДОБРОСОСÉДСКИЙ, -ая, -ое. Дружественный (о взаимных отношениях соседей). *Добрососедские отношения.* □ *Теперь Афанасий Петрович нисколько не сомневался в том, что корабль воинский и построен вовсе не для добрососедской торговли, а для боев.* Герман, Россия молодая [МАС Т. 1: 410].

Общее положительное значение корня *добр-* в этом примере определяет положительную оценку всего слова. Ср. слова *злонравный* и *добронравный*, где антонимическое значение формируется и через семантическое, и через оценочное противопоставление первого компонента.

Таким словам присуща семантическая цельность, которая может разрушаться вследствие приращения смыслов и коннотаций при функционировании слова. Наиболее подвержены изменениям слова, в которых один из элементов носит выраженную оценочную семантику (*благо-*

, *добро-*, *зло-*, *славо*), либо имеет количественное значение, которое также может выражать оценку (*веле-*, *много-*, *мало-*).

В составе композитов элементы *добро-* и *благо-* способны десемантизироваться, в результате чего изменяется оценочный компонент слова, а дальнейшее развитие семантики отражает изменяющиеся ценностные представления говорящих.

3.2.1. Благоверный

В Словаре Академии Российской у слова *благоверный* отмечены такие значения: '1) Православный, правовѣрный, благочестивый, содержащій правый законъ, исповѣдующій истинную вѣру. <...> 2) Придается особенно сіе рѣченіе державнымъ особамъ, православную вѣру исповѣдающимъ. *Благовѣрная Государыня*. 3) Нынѣ приписуется великимъ Князямъ и Княжнамъ' [САР Т. 1: ст.1013].

В Словаре русского языка XVIII века слово *благоверный* зафиксировано в значении: '*Слав. Исповедующий истинную веру; благочестивый*. Множество людей блговѣрных от града ... приидоша к Пещерѣ. Кн. жит. 1705 675. | *Как эпитет государей православного вероисповедания*. Во время княжения благовѣрнаго и святаго князя Александра Невскаго. Апофеосис 9.' [СРЯ XVIII Вып. 2: 32].

Следует отметить, что оба элемента этого композита в XVIII в. транслировали специфическое ценностное восприятие, при котором единственно истинным, а значит, и ценным признается православие. В «Примечаниях на опыт славенскаго словаря» (1808) А. С. Шишков пишет: «христіянская вѣра предъ всѣми прочими есть правая вѣра, а потому всякъ христіанинъ есть правовѣрный; но государя особливо именуютъ **блговѣрнымъ**, благочестивымъ, поелику предполагають, что онъ, яко помазанникъ и глава церкви, не токмо правотою вѣры, но и образомъ мыслей своихъ и нравами, паче прочихъ блговѣренъ и благочестивъ» [Шишков 1870: 10].

Прилагательные с корнем *благ-* в XVI – XVII вв. «используются как постоянный эпитет к слову Бог» [Генералова 2007: 18], что соотносится с наблюдением Е. Р. Добрушиной об абсолютной, сакральной оценке, содержащейся в слове *благо*. Слово *вѣрный* в одном из своих значений указывает на исключительную ценность именно христианства: ‘1) Относительно къ вѣрѣ: исповѣдующій Христіанскую вѣру; послѣдующій Христіанскому благочестію’ [САР Т. 1: ст. 1008].

Рефлексы этого ценностного представления сохранились в терминологическом значении слова *благодарный* – когда оно обозначает лик православных святых правителей, распространявших и отстаивавших христианство на своих землях. К лику благодарных причислены, например, Александр Невский, Дмитрий Донской, Андрей Боголюбский. Таким образом, первоначально прилагательное *благодарный* характеризуется как книжное, высокое и, безусловно, аксиологически положительное.

В заданном подкорпусе НКРЯ 1770 – 1800 гг. зафиксировано употребление слова *благодарный / благодарная* как постоянного этикетного определения:

Его Императорскому Высочеству, Благодарному Государю, Цесаревичу и Великому Князю Павлу Петровичу, Пресветлейшему наследнику и прочая, и прочая (архиепископ Платон (Левшин). Его Императорскому Высочеству, 1780).

Отмечаются также примеры употребления слова *благодарный* в значении ‘особый лик святых’:

Как государь з государыню, так и князь с княгинями и княжны, приехавши прямо в собор и прикладывались ко образам и к мощам благодарнаго князя Михаила, потом шествовали во дворец пешком ис собора в северные двери (Блиновы. Дневник, 1783 – 1799).

Употребление слова *благодарный* безотносительно монаршего лица по данным НКРЯ впервые фиксируется в тексте 1814 г.:

*Священник осмотрелся, вынул небольшую тетрабочку и начал: «Благочестивые христиане! Послушайте, что я скажу вам ныне; не неприлично будет к вам слово мое, ибо предстоит скоро великий праздник, именно чрез восемь дней, в следующее воскресенье. Праздник, **благочестивые слушатели и слушательницы**, слово «праздник» для многих из вас есть пресоблазнительное слово. Вместо того чтобы помыслить о божестве и молитве, вы, вставая с постелей, – посудите, **православные!** – вы помышляете о невоздержании и пьянстве; и выдумываете, что бы заложить, если у вас нет наличных денег! Такое вступление поразило меня; я поднял глаза и еще больше покраснел не от стыдливости, как прежде, а от какого-то тайного предчувствия». (В. Т. Нарезный. Российский Жилбляз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова, 1814).*

В тексте проповеди синонимически употребляются обращения *благочестивые христиане – благочестивые слушатели и слушательницы – православные*. По денотату эти слова, действительно, синонимичны, но стилистически они отличаются. Выражение *благочестивые христиане* в позиции обращения явно книжное, торжественное, и обращение *православные* по сравнению с ним стилистически снижено. Разместившееся между стилистически высоким и низким сочетание *благочестивые слушатели и слушательницы* в позиции обращения звучит иронично, так как соединяет церковное, характеризующее духовную сферу, аксиологически высокое *благочестивый* и явно светское *слушатели и слушательницы*.

Иронический оттенок присутствует и в следующем контексте употребления слова *благочестивый*:

После чего, подняв руки вверх, запела весьма громко: «Ехал фараон по суше, аки по морю». Это было начало симпатического пения. Я сердился и плакал.

– Да хотя бы он, проклятый, по поднебесью летал, пожалуй, уймись!

*– Летают только колдуны и ведьмы, а он, батюшка, был **благочестивый человек**, и **притом христианин**. (В. Т. Нарезный. Российский Жилбляз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова, 1814).*

Эти слова произносит старая кухарка, выдавшая себя за повивальную бабу. Благоверный человек – по определению уже христианин, поэтому присоединительная конструкция *и притом христианин*, с одной стороны, создает языковой портрет старухи – неграмотной и бестолковой. С другой стороны, погружение стилистически высокого словосочетания в разговорный стиль снимает его пафос, снижает аксиологическую значимость.

С начала 30-х годов XIX в. слово *благоверный* развивает новую сочетаемость:

Что вы делаете? Приехала ли Александра, Михайлова дочь, – и какие ее речи? всё пишете – а моего писания никому не являйте. Растрясло меня и потому к благоверной кухне не пишу – а вам мало; извините моей немощи!.. До Петербурга с обоими прощаюсь: раб ваш М. Lerma. Прошу засвидетельствовать мое нижайшее поч[тение] тетеньке и всем домочадцам. (М. Ю. Лермонтов. Письмо С. А. Бахметевой, 1832).

Очевидно, *благоверная* употреблено здесь метафорически ‘благочестивая, уважаемая’ и с иронией, которая характеризует стиль всего письма.

Тщетно уверял их Лазарь, что без своего боярича он никак не может разбить силы нечистой. – Благоверные господа послы, честные Бояре, – говорил он им, – отпустите меня, верного раба, конюха и приспешника богатырского, отпустите искать его по белому свету, не дайте сгинуть туюю и печалью! Отпустите – найду его и приду вместе с ним служить службу Князю Олегу Ивановичу, а один не могу. – Иде же ты найдешь его? (А. Ф. Вельтман. Кощей бессмертный. Былина старого времени, 1833).

В этом примере *благоверный*, вероятно, употребляется как синоним слова *честной*.

Как говорилось выше, прилагательное *благоверный* первоначально отражало сакральную ценность православия. В примере из книги О. И. Сенковского *благоверные* – субстантивированная номинация инородцев, неправославных:

*И святость его была так велика, что он даже мог без трепета смотреть в лицо всякому земскому исправнику <...> Затем я, Мерген-Саин, слышал так: вышел лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи из улуса, в котором питался он подаяниями **благоверных**, и сел уединенно в степи, с лицом, обращенным к югу. (О. И. Сенковский. Похождения одной ревижской души, 1834).*

Таким образом, можно говорить о разрушении внутренней формы слова, мотивированной внутренним изменением отношения к религии.

Сочетания *благоверная кузина, благоверные господа* встречаются единично, тогда как устойчивая сочетаемость возникает со словами *супруг, супруга*. Вероятно, значение слова *благоверный* в таких контекстах можно описать как ‘сочетавшиеся законным, т. е. церковным, браком’:

*Хороша ли, нет ли она собой, но она молода, она желает нравиться и наслаждаться, она умеет спрягать глагол «я хочу» не хуже 2-жи Линьёль; а что находит она в **благоверном своем супруге**? Под сукном да ватю – завернутый фланелью барометр, наполненный сладкою ртутью. Находит усталого, чахлого человека, который по утрам кашляет, целый день зевает и каждый вечер скучает или докучает. День-деньской он на службе, а ночь в гостях: или играет до утренних петухов, или хочет победить петухов за бокалом; он весь век будто маятник между бутылкой бургонского и стклянкой с лекарством. (А. А. Бестужев-Марлинский. Фрегат «Надежда», 1833).*

В этом примере уже намечается оценочная энантиосемия. С одной стороны, *благоверный* – ‘сочетавшийся законным браком’ отражает традиционное положительное отношение к семейным узами. С другой

стороны, прагматика высказывания показывает, что благоверный супруг – отнюдь не залог счастья жены:

– Э-э! гости! – вскричал Рудольф, – и моя благоверная супруга! Пойдемте скорее в кабинет! Бедная Дурочка! Как она испугалась, побледнела, спешила убирать книги и стол. (Н. А. Полевой. Дурочка, 1839)

В целом в 30-е гг. XIX в. оформляется два семантико-прагматических поля функционирования слова *благоверный*. Одно из них определяется традиционными ценностями и этикетом: сопровождение имен великих князей определением *благоверный*. Другая сфера функционирования связана с развитием семантики и светским мировоззрением. При этом Словарь церковнославянского и русского языка 1847 г. не отражает происходящих изменений: *‘Церк. Исповѣдующій истинную вѣру; правовѣрный, православный. <...> Названіе благовѣрныхъ придается Особамъ Россійскаго Императорскаго Дома, кромѣ самихъ Царствующихъ, которые именуются благочестивѣйшими’ [СЦР 1847: 49].*

По данным НКРЯ субстантивированное употребление слова *благоверный* в значении ‘законный супруг’ появляется в 1850 г.:

– Ты не огорчайся, друг мой, – мало ли что бывает в семействе? Я с моим благоверным раза три в иной день побранюсь. Правда ли, что ты хочешь один ехать в деревню? (А. Ф. Писемский. Тюфяк, 1850).

Прагматика этого высказывания задает эмоционально-оценочную окраску слова *благоверный*, придавая ему оттенок пренебрежительности.

В связи с закреплением субстантивного значения сочетание *благоверный супруг / благоверная супруга* быстро становится избыточным, однако иногда встречаются сочетания с эмоционально-оценочными существительными:

Т а т ь я н а А н д р е е в н а . Извините, что поздно. Хотела было пораньше приехать, да со своим благоверным муженьком сразилась... Надоед... Куда едешь? Да тебе что за дело: куда хочу, туда и еду... (А. А. Потехин. Закулисные тайны, 1860 – 1870).

Оценочный суффикс *-еньк-* придает существительному оттенок уничижительности, что в сочетании с прагматикой высказывания (жена едва терпит мужа, не уважает его) порождает отрицательную оценочность слова *благоверный*.

Контекстуальная зависимость отрицательной оценки проявляется и в таком примере:

Кузину вашу называет бездушной куклой. А ее благоверного сожителя – ослом в гусарском вицмундире. (Т. Г. Шевченко. Прогулка с удовольствием и не без морали, 1855 – 1858).

Слово *сожитель* в XIX в. не обладало современной отрицательной оценочностью, обозначая законного мужа. Отрицательная оценка словосочетания *благоверный сожитель* возникает из-за отрицательной оценки предикативной метафоры *осёл в гусарском вицмундире*.

Можно отметить, что за субстантиватом *благоверный* контекстуально закрепляются негативные ассоциации, противоречащие аксиологическому представлению о мужчине: *надоедливый, глупый, скучный, безвольный, неверный или обманутый женой*. Отрицательная оценка нередко сочетается с иронией:

(1) *Благоверный уходит, чтобы оставить на свободе прекрасного кузена вместе с прелестною кузиною...* (А. А. Потехин. Закулисные тайны, 1860-1870);

(2) *Благоверный, будучи человеком характера робкого и миролюбивого и притом, по духу времени, смирясь пред эмансипированными стремлениями к независимому*

труду и жизни своей супруги, спешил высылать ей денег, поскольку лишь было ему возможно. (В. В. Крестовский. Панургово стадо, 1869);

(3) И два золоченых стульчика в углу около пьезца... К пьезцам она не присаживалась с тех пор, как вышла замуж. Тут, в этом супружеском покое, она стала умнеть. С каждым месяцем обнажалась перед ней личность ее «благоверного». Не долго тщеславие брало в ней верх над способностью оценки. Да и не очень-то она преклонялась, даже когда выскочила за него замуж, перед его «белой костью». Мужчины по теперешним временам все равны перед неглупой и красивой молодой женщиной. (П. Д. Боборыкин. Василий Теркин, 1892).

П. Б. Боборыкин графически обыгрывает ироническое употребление слова *благоверный* (пример 3): кавычками подчеркивается энантиосемия, основанная на противоположности коннотаций.

Одновременно намечается оценочная асимметрия между субстантивированным употреблением мужского и женского рода. В заданном подкорпусе 1851 – 1870 гг. НКРЯ отмечено 15 контекстов, где слово *благоверная* употреблено в значении ‘жена, законная супруга’. Из них отрицательная оценка контекстуально выражается лишь в двух примерах:

(1) – Э! Сосед!!.. Посмотри-ко, што моя-то благоверная творит!.. Отравить хочет! – кричал Ульянов. – Полно-ко, Матвейч, дурить-то! (Ф. М. Решетников. Где лучше? 1868);

(2) С ы р о п у с т о в а . Не сердитесь, Василий Иваныч, я не виновата в том, что беспокою вас... Я не хотела вас тревожить: это ваша благоверная... (А. А. Потехин. Вакантное место, 1870).

В остальных 13 примерах оценочность либо нулевая, либо положительная, сочетающаяся с иронией:

*Впрочем, мне не в диво: я ведь плебей, *hoto novus* – не из столбовых, не то, что моя благоверная... А не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть перед чаем*

утреннюю свежесть? Аркадий вышел к нему. – Добро пожаловать еще раз!
(И. С. Тургенев. Отцы и дети, 1862).

Субстантиваты *благоверный* – *благоверная* социально маркированы: эти слова употребляются разночинцами, мещанами, мелким дворянством, что объясняет многочисленность иронических контекстов. Тогда как *благоверный* в первоначальном значении прилагательного остается словом из лексикона дворянского сословия, хотя его семантика стерта и используется оно формульно. Оно используется также в исторической литературе и стилизациях:

(1) *Известно, там наши родители в землю легли; там вся наша святыня; там гробы чудотворцев, гробы благоверных князей российских и первосвященников православной церкви...* (М. Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки, 1856 – 1857);

(2) – *Говорю я, благоверная царица, что никому не следует забывать, что царица Наталия Кирилловна, по вдовству своему, старейшая в царской семье особа и что, по супружеству своему, она тебе, твоим братьям и сестрам заступает родную мать.* (Е. П. Карнович. На высоте и на доле: Царевна Софья Алексеевна, 1879).

В ТСУ слово *благоверный* дается со стилистическими пометами: ‘Только в шутол. выражениях в знач. суц.: **благоверный**, ого, м. – муж, и **благоверная**, ой, ж. – жена. *Мой б. болен. Он все рассказал своей благоверной.* [Первонач. церк. эпитет царей в знач. «православный, правочерный».]’ [ТСУ Т. 1: стб. 145].

В МАС *благоверный* и *благоверная* разделены на две словарные статьи: ‘Разг. шутол. Жена. – *Пойдемте, я представлю вас своей благоверной.* Чехов, Ионыч’ ; ‘Разг. шутол. Муж. *Добрая, хотя строгая, супруга уже обложила*

своего благоверного сеном и одеждой. М. Горький, Ярмарка в Голтве. [МАС Т. 1: 92].

Как нам кажется, более точно прагматику этих слов характеризовала бы помета *ироническое*, которая отразила бы регулярное сочетание иронии и оценочной энантиосемии:

Колючие глазки из-под разросшихся седых бровей глядят пронзительно и с раздраженьем. – Как мой отпрыск и благоверная? Пытаются доказать юридически мою невменяемость и запустить зубы в капитал? (М. С. Шагинян. Месс-Менд, или Янки в Петрограде, 1923 – 1924).

Данные НКРЯ позволяют увидеть, что в 1930 – 1950 гг. субстантивированная форма слова *благоверный / благоверная* уходит на периферию, тогда как этикетное употребление при именах князей фигурировало в исторической прозе. В исторической прозе активизируется также лишенное иронии употребление слова в прагматически сильной позиции обращения:

«Благоверный супруг мой, – писала она, когда дети ее улеглись, – я одна без вас. Люди жалеют меня и говорят мне, что я – как вдова». (Л. И. Добычин. Шуркина родня, 1936)

В подкорпусе НКРЯ за 1951 – 1970 гг. вновь наблюдается асимметрия субстантивных форм мужского и женского рода. Из 25 вхождений 16 составляет слово *благоверная*, причем в значении ‘жена, законная супруга’ оно употреблено 14 раз. Коннотации и прагматика субстантива *благоверная* достаточно сложные и зависят от субъекта речи и коммуникативной ситуации:

– Дорогой управитель! Окажите честь, познакомьтесь с моей благоверной. Одним духом выпалив такую замысловатую фразу, крановщик легонько

подтолкнул к Василию Васильевичу худенькую девушку. (Г. Калиновский. Двадцать третий капитан // «Огонек». № 49, 1956).

В этом примере говорящий употребляет слово *благоверная* для повышения стиля (*замысловатая фраза*) без учета культурного фона слова.

Негативная оценка оказывается ассоциативно связана с такими признаками, как *болтливая, бестолковая, сварливая, глупая*:

(1) *Дед Щукарь выслушал свою благоверную с нескрываемым презрением, под конец возмущенно фыркнул...* (М. А. Шолохов. Поднятая целина, 1959);

(2) [Лилька, жен] *Значит, мы с Нелькой к тебе заходим – и твоя благоверная так на тебя разорялась!* (Э. С. Радзинский. 104 страницы про любовь, 1964);

(3) *Дома ждал Ферпонтыча удивительный сюрприз – грамотная записка от благоверной: «Шер ами! Пути наши разошлись в море жизни, и авось не пересечься им никогда. Прощай и прости, пойми и не ревнуй».* (Василий Аксенов. Любовь к электричеству, 1969).

(4) *Он знал, из-за чего взбесилась его благоверная.* (Федор Абрамов. Дом, 1973-1978).

Употребление субстантивата *благоверный* сопровождают ассоциации *беспомощный, неспособный, бесхарактерный, жестокий*:

(1) *Не выдержала Ольга, жена Мишкина, оттолкнула благоверного от мерина да и взялась погонять.* (Алексей Иванов. За рекой, за речкой, 1982);

(2) *Таня глянула на своего благоверного. Суп сидел по стойке «смирно», выпирая ослепительно белой грудью и манжетами из тесноватого блейзера. Он так волновался, что даже как-то помолодел, что-то мальчишеское затравленное выглядывало из огромного, тела. Она всегда поражалась, какими беспомощными пупсиками оказываются советские супермены, метатели, борцы, боксеры перед*

всеми этими хмырями-первоотдельцами и вот такими «обозревателями».
(Василий Аксенов. Остров Крым (авторская редакция), 1977 – 1979);

(3) – *Довел тебя твой благоверный, матушка, довел... Одна кожа да кости.*
(Евгений Евтушенко. Ягодные места, 1982).

С 1990-х гг. вновь активизируется специальное религиозное употребление прилагательного *благоверный*, отражая восстановление традиционных религиозных ценностей. Морфологическое различие (прилагательное vs. субстантиват) обеспечило непроницаемость высокого значения, транслирующего сакральные ценности и нравственно-этическую оценку, для сферы обыденного:

Преподобномученица Елисавета в своей жизни смогла соединить воедино святость благоверной княгини, преподобной праведницы и мученицы за Христа и оставила нам пример жизни по Евангелию. (патриарх Алексей II (Ридигер). Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви в связи с принесением в Россию святых мощей Преподобномучениц Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (2004) // «Журнал Московской патриархии», 2004.08.30).

Субстантивные *благоверный* и *благоверная* продолжают демонстрировать оценочную энантиосемию.

Положительная оценка формы мужского рода:

Моя подруга Раиса из другого ряда. Хороший муж ее благоверный. И красивый, и умный, и рукастый. (Галина Щербакова. Моление о Еве, 2000).

Отрицательная оценка формы мужского рода:

И там на пляже я увидела, что мой благоверный без зазрения совести заглядывается на пышных цветущих дамочек. (Тема номера: похудение (1999) // «Здоровье», 1999.03.15).

Отрицательная оценка формы женского рода:

А то кто-то сомневается, к кому ты сегодня поедешь: ко мне или к своей благоверной, чертом данной, со штампом в паспорте? (Лев Корнешов. Газета, 2000).

Положительная оценка формы женского рода:

Она потеряла сознание и находилась в странных эмпиреях другого бытия до прихода мужа, своего Дато, который, сохраняя самообладание, вознес жену свою на руки и бежал с нею до самого приемного покоя больницы, где ей сделали операцию и заверили пожилого супруга, что его благоверная останется жить. (Дмитрий Липскеров. Последний сон разума, 1999).

Интересно, что появляются сочетания *бывший благоверный – бывшая благоверная*, которые показывают, что субстантиваты полностью утратили связь с первоначальным значением прилагательного. На десемантизацию и переосмысление указывает и такой пример:

Слышал, будто собаки воют на луну, а мне вот захотелось взвять на солнце, когда увидел, как моя благоверная-неверная, чуть пополневшая, похорошевшая за время наших несвиданий, на улицу выходит с каким-то средних лет хмырем в одном костюме, без пальто. (Афанасий Мамедов, Исаак Милькин. Самому себе (2003) // «Октябрь», 2002).

Корень *благ-* десемантизируется и, похоже, приближается к своему энантиосеманту – *благое ‘плохое, дурное’*. Основная смысловая нагрузка

ложится на элемент *верный*. Интересно, что усиление компонента *верный* более характерно для слова женского рода:

*Еще 11% мужчин не стали бы давать ответ сразу, а попытались бы уговорить свою **благоверную** отдаться другому, объяснив, как важно семье получить миллион. (В других изданиях «АиФ» читайте (2001) // «Аргументы и факты», 2001.04.04).*

Возможно, это показатель того, что верность как ценность более важна именно для женщины (в оценках мужчины).

*Ее не было у Караванчиевских, понятно: приехал ее **благоверный кабан**. (Василий Аксенов. Таинственная страсть, 2007)*

В этом примере, слово *благоверный* контактно расположено к существительному *кабан*. Поэтому эту конструкцию можно рассматривать не только как словосочетание с согласованным определением (*кабан какой? благоверный*), но и как сочетание с приложением (*благоверный кто? кабан*, хотя возникает противоречие пунктуационного оформления – дефис отсутствует). Устойчивая отрицательная коннотация слова *кабан* выводит слово *благоверный* из зоны оценочной энантиосемии, придавая ему негативную оценку.

Актуализация отрицательной оценки может выражаться и метаязыковыми указателями:

*Даже если он завещание оставил на внуку, так это минимум полгода, чтоб в наследство вступить. И ты думаешь, за это время компанию не вывернут маткой наружу? Вместе с твоей, извини, **благоверной**. А тебе самому это надо? Ты что, крутой нефтярь? Коломнин слушал, догадываясь, к чему ведет витиеватый монолог Ознобихин. (Семен Данилюк. Бизнес-класс, 2003).*

Вводное слово *извини* в этом контексте указывает на дополнительные оценочные оттенки слова *благоверная*.

Обобщая сказанное, можно выделить следующие значимые моменты аксиологической динамики слова *благоверный* в свете его исторической семантики:

Многозначность слова *благоверный*, отмеченная историческими словарями, определила две линии развития.

1. Прилагательное *благоверный*, имевшее этикетную функцию устойчивого определения, отражало высокие нравственно-этические представления о роли монарха. Кроме того, оно обозначало особый лик святых. Сфера функционирования этого слова была достаточно ограниченной, вследствие чего высокая положительная этическая оценка сохранилась без изменений.

2. Субстантивированные слова *благоверный* / *благоверная*, напротив, развивались с изменениями семантики и коннотаций. Они стали принадлежностью разговорной речи. На протяжении второй половины XIX – XXI вв. для них свойственно употребление в ироническом контексте, определявшем оценочную энантиосемию. В ряде контекстов эти слова приобретали отрицательную оценку, обусловленную прагматикой высказывания. Функционирование этих слов сопровождается оценочной асимметрией мужского и женского рода. Компонент *благо* в субстантиватах десемантизирован.

3.2.2. *Благодетель*

В XVI – XVII вв. слово *благодетель* использовалось как стандартное обращение в письмах и грамотках. В САР у слова *благодетель*, которое входит в гнездо глагола *Дръяти*, множество однокоренных, из которых отдельные лексемы утрачены в современном русском языке: *благодаять*,

благодѣяние, благодѣтельный, благодѣтелев, благодѣтельский, благодѣтельствовать, благодѣйствие, облагодѣтельствовать, облагодѣтельствоваанный.

Слово *благодѣтель* толкуется как ‘Благотворитель; тотъ, который дѣлаеть добро, или оказалъ кому милость’ [САР Т. 2: ст. 894 – 895]. *Благодѣтельствовать* – ‘Сл. дѣлаю добро ближнему, оказываю подобному себѣ вспомошествованіе, услуги и другія дѣла челоуѣколюбіемъ внушаемья’ [САР Т. 2: ст. 895]. *Облагодѣтельствовать* – ‘Оказать кому многія благодѣянія’ [САР Т. 2: ст. 895].

В Словаре русского языка XVIII века обращает на себя внимание помета о переходе этого слова из славянизмов в группу нейтральных, положительный оценочный знак в толковании очевиден и соответствует значению первого корня композита: ‘Слав. → Нейтр. Тот, кто делает добро, оказывает благодѣяние кому-л.’ <...> Ср. *благотворитель, милостивец* [СРЯ XVIII Вып. 2: 38]. Лексическое значение указывает на связь слова *благодѣтель* с такими важными нравственными ценностями в русской языковой картине мира – с милосердием и бескорыстной помощью. Однако в современном русском языке оно употребляется иронически, нередко с отрицательной оценкой. При этом словари и не отразили изменения коннотации слова: ‘Лицо, оказавшее кому-н. большую пользу или услугу’ [ТСУ Т. 1: стб. 147]; ‘*Устар.* Тот, кто оказывает кому-л. покровительство, помощь, услугу’ [МАС Т. 1: 93].

Положительная оценка действительно заложена в семантике слова *благодѣтель* изначально, однако уже в XVIII в. намечается ее градуирование:

Склонность делать добро, чтоб она могла назваться добродетелью, имеет нужду в правилах, они различествуют от той способности обязывать, которая

вас делает больше рабом, нежели благодетелем людей (Н. И. Новиков. О добродетели, 1775)¹.

Н. И. Новиков выделил важный дифференциальный признак благодетеля – ‘тот, кто делает добро бескорыстно, не ожидая чего-либо взамен’. Этот признак в дальнейшем сыграл значительную роль в аксиологической динамике слова. Ср.:

*Закон лихоимца называет бесчестным, но в обществе таковым их не почтут; но разве жестокосердым и к прибытку алчным. А тот, кто имеет в деньгах нужду, почтет иногда лихоимца благодетелем*² (А. Н. Радищев. Проект Гражданского уложения, 1801).

В церковном дискурсе слово *благодетель* употребляется для обозначения Бога – *отец Благодетель* и входит в перифразу, обозначающую Иисуса Христа (Спасителя) – *благодетель рода человеческого*.

Фразеологизированное сочетание *благодетель человечества* / *благодетель рода человеческого*, вероятно, калькировано с французского *bienfaiteur de l'humanité*³ в первой трети XIX в. и употребляется по отношению к ученым и общественным деятелям:

¹ То же находим у Н. М. Карамзина: Вопрос: «Кто есть *истинный благодетель?*» Ответ: «Тот, кто помогает ближнему в настоящей его нужде». Сей ответ, при всей своей простоте, заключает в себе разительную истину. Давай всякому то, в чем он на сей раз имеет нужду; не читай нравочений тому человеку, который умирает с голоду, а дай ему кусок хлеба; не бросай рубля тому, кто утопает, а вытащи его из воды. (Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника, 1793)

² *И, уж конечно, бедняк, продавая последнюю козу, чтоб уплатить «благодетелю», не роптал нимало, а, напротив, горько страдал в душе, что всего-то коза стоит 4 целковых, а ведь и «бедному работающему на них всех, бедняков, старичку тоже ведь жить надо, а что такое четыре целковых за все-то его благодеяния семейству?»* (Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1877. Год II-й, 1877). – Этот пример удивительно созвучен со словами А. Н. Радищева и показателен для аксиологической динамики. Как нам кажется, кавычки у слова *благодетель* в этом примере имеют сложную смысловую нагрузку. С одной стороны, они указывают на цитатность: Ф. М. Достоевский подчеркивает, что использует чужое слово. С другой стороны, кавычки отражают противоречие в оценке явления различными субъектами.

³ В современном французском языке выражение сохраняет положительную оценочность и значение ‘исследователь, открытия которого значительно способствовали прогрессу’.

(1) *Зоненфельс! Я подумал о тебе – благодетель человечества! – увидев сии памятники невежества и ожесточения между древностями, с орудиями хлебопашества.* (А. И. Тургенев. Дневники, 1825 – 1826);

(2) *<...> и великие писатели суть, право, благодетели человечества, ибо переносят нас из мира существенного в мир мечтательный.* (А. О. Корнилович. Письмо М. О. Корниловичу, 1832).

В русском языке второй половины XIX в. это выражение входит в словарь общественно-политической полемики, вследствие чего развивается оценочная энантиосемия. Она обусловлена экстралингвистическим фактором – политическими взглядами говорящего. В языковом дискурсе консерваторов-славянофилов оно приобретает отрицательную оценочность:

Обратитесь к индейцам, к арабам, к диким американцам, к неграм и указывайте на них, как на будущих благодетелей человеческого рода. <...> Идите дальше; представьте нам негра, как существо самое неразвитое и самое угнетенное, а потому именно долженствующее возродить человечество, развращенное историческим просвещением. (К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин. Письмо к издателю, 1858).

В демократической полемике выражение *благодетель человечества*, напротив, несет положительную оценку:

Эти люди совершают великие дела, становятся благодетелями человечества. (Н. А. Добролюбов. О значении авторитета в воспитании (мысли по поводу «Вопросов жизни» г. Пирогова, 1857).

Вплоть до второй половины XIX века это слово употребляется с положительной оценкой:

(1) *После смерти её, жены моей, всё моё недвижимое имение да наследует тот или те из моих родственников, свойственников или же и посторонних, кто в течение жизни моей нелицемерно ко мне привязанностию более заслужит моей благодарности, – о сём обстоятельстве не премину я отозваться особливym письмом моим к моему **благодетелю** душеприказчику... (Д. И. Фонвизин. Духовное завещание, 1786).*

(2) *По отдаши долга сему моему **милостивцу** и **благодетелю**, осталось мне распрощаться только с моим генералом и также поблагодарить его за всё оказанное им мне добро, во всю мою при нём кёнигсбергскую и тогдашнюю бытность. (А. Т. Болотов. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков, 1800);*

(3) ***Благодетель** мой, принявший меня под кров свой, был зажиточный, добрый крестьянин; он полюбил меня, как сына, и тайны семейства его были моими тайнами. (Неизвестный. Варенька, 1810).*

Тем не менее уже с последней трети XVIII в. встречаются иронические употребления слова *благодетель*:

*Купечество наше обещает от себя немалое награждение тому из модных господ, который чрез искоренение сея моды доставит им свободную торговлю. Награждение сие, как сказывают, состоять будет в том, что вся Суровская линия, сложася с другими, сделает **благодетелю** своему кредит на десять тысяч рублей. Должно ожидать от сего желаемая пользы: ибо кто найдет себя в состоянии вывести сие из моды, тот не захочет потерять сию находку. Купечество же потерю свою считать будет тогда не более как в трех тысячах рублей (Н. И. Новиков. Живописец. Третье издание 1775 г. Часть II, 1775).*

Кроме того сложную прагматику высказывания порождает слово *благодетель* в позиции обращения. Как уже было сказано выше, эта лексическая единица и ранее активно употреблялась в эпистолярном жанре,

для которого исторически характерно самоуничижение автора письма и превознесение адресата:

*Я не могу довольно благодарить тебя, а только прошу Бога: Боже великий!.. продли его жизнь на благо общее въ вѣкъ и въ вѣкъ. **Благодѣтель мой!** Вашего Высокородія Всенижайшій и всепокорнѣйшій слуга Благодарный. февраля... дня 1795 Москва Отъ лица правды. (Копія съ письма отъ неизвѣстнаго къ Статскому Совѣтнику М. В. С. // Магазинь общепользныхъ знаній и изобрѣтеній съ присовокупленіемъ моднаго журнала, раскрашенныхъ рисунковъ, и музыкальныхъ нотъ. Часть первая. съ Генваря до Юня, 1795).*

В официальной корреспонденции первой трети XIX в. обращение *благодетель* вежливое, уважительное, использует по отношению к старшему лицу:

*И. Ф. Паскевичу 12 апреля [1828]. Петербург **Почтеннейшій, мой дражайшій благодетель.** Сейчас мне в департаменте объявил К. К. Родофиникин, что к вашему сиятельству отправляется курьер с ратификациями. Нового мне вам сказать нечего, притом в присутственном месте не так вольно слова льются. Я еще нового назначения никакого не имею. (А. С. Грибоедов. Письма, 1828).*

Иную тональность приобретает слово в дружеской переписке. Иронически употреблено слово *благодетель* в функции обращения в таком контексте:

*Слушай-же, **кормилецъ:** я пришлю тебѣ трагедію мою съ моими поправками – а ты, **благодѣтель,** явись къ Ф. Ф<оку> и возьми отъ него письменное дозволеніе (нужно-ли оно?) Думаю написать предисловіе. Руки чешутся, хочется раздавить Булгарина. Но прилично-ли мнѣ, Ал. (А. С. Пушкин. Письмо П. А. Плетневу, 1830).*

Обычно слово *благодетель* используется, если речь идет об уже совершившейся помощи. Здесь же А. С. Пушкин обращается с просьбой, причем тон письма очень демократичный, и обращение *благодетель*

выбивается из него стилистически. Ироническому эффекту способствует и обращение *кормилец* по отношению к издателю.

Более сложные прагматические оттенки возникают в диалоге. В устной речи такое нарочитое возвышение нередко указывает на импликатуру – неискренность говорящего:

Г-жа Простакова . Нечаянный твой приезд, батюшка, ум у меня отнял; да дай хотя обнять тебя хорошенько, благодетель наш!.. (Д. И. Фонвизин. Недоросль, 1782).

Для такого обращения характерен инверсивный порядок слов: существительное *благодетель* с притяжательным местоимением 1-го лица (мой – наш), в этом случае приближающимся по значению к постпозитивным частицам. Скрытые смыслы такого обращения видны в примере А. Н. Радищева:

«Благодетель мой, я женил вчера парня своего». – «Благодетель твой, подумал я, не без причины он меня так величает». Я ему, как и другие, пособил записаться в именитые граждане. Дед мой будто должен был по векселю 1000 рублей, кому, того не знаю, с 1737 году. Карп Дементыч в 1780 вексель где-то купил и какой-то приладил к нему протест. Явился он ко мне с искусным стряпчим, и в то время взяли они с меня милостиво одни только проценты за 50 лет, а занятый капитал мне весь подарили <...> Карп Дементыч <...> всех величает: благодетель мой. (А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву, 1779 – 1790).

Таким образом, в функции обращения положительный оценочный компонент, свойственный семантике слова *благодетель*, размывается, в отдельных случаях приближаясь к оценочной энантиосемии.

С конца 40-х годов XIX в. слово *благодетель* всё чаще употребляется иронически. Основой для иронии служит переосмысление изначально заложенной семы ‘бескорыстная помощь’ и соотношения благодеяния и

благодарности. Иногда благодетель действует не бескорыстно, а с выгодой для себя. Таким образом, происходит подмена самой сути понятия *благодетель* и *благодеение*:

*Сусликов писал, барин хвалил, а старый капельмейстер кланялся с обычной добродушной улыбкой. Справедливость требовала же, наконец, чтобы старый капельмейстер получал какое-нибудь вознаграждение за покровительство, оказываемое им молодому музыканту; смешно было восставать против этого; но грубой натуре Сусликова недоступны были такие тонкие отношения; он не замедлил отплатить **благодетелю** самую черною неблагодарностию. (Д. В. Григорович. Капельмейстер Сусликов, 1848).*

Слово *благодетель*, исторически обладавшее положительной этической оценкой, применяется для выражения неискреннего почтения, лести ради достижения цели:

(1) *Она на страхивает с себя природную лень, она не спит ночи, готова ездить в тряской телеге по сквернейшим дорогам, кланяется и поит повытчика с распухшею физиономией и подбитыми глазами, **называет его благодетелем**, призывает на помощь все обольщения <...> (М. Е. Салтыков-Щедрин. Противоречия, 1847).*

(2) *Тогда он написал другое, в котором, в самых унизительных выражениях, называя помещика **своим благодетелем** и величая его титулом настоящего ценителя искусств, просил его опять о вспоможении. Наконец ответ пришел. Помещик прислал сто рублей и несколько строк, писанных рукою его камердинера, в которых объявлял, чтоб впредь избавить его от всяких просьб (Ф. М. Достоевский. Неточка Незванова, 1849).*

Очевидно, изменяется направленность действия: *благодетель* действует не как независимый субъект, а как субъект, действие которого спровоцировано объектом желанного благодеяния, в том числе через факт номинации – обращение *благодетель*.

Кроме того, нивелируется идея помощи ради помощи. Помочь – значит обязать подчиняться:

Я хочу, чтоб и Пселдонимов по моей дудке плясал, потому я ему благодетель. (Ф. М. Достоевский. Скверный анекдот, 1862).

Эмоциональный фон такого речевого акта – самоуничижение просящего (объекта) и возвышение *благодетеля*. Устранение семы ‘бескорыстный’ – наиболее частая причина отрицательной оценки:

И они же, благодетели, наедут, объедят, обопьют да нас же на смех подымут!..
(А. В. Сухово-Кобылин. Свадьба Кречинского, 1855).

Трансформация глубинной структуры понятия *благодетель*, проявляясь контекстуально, последовательно изменяет и оценочной компонент. Первоначальное значение корня композита *благо-*, не теряя утилитарной оценки, утрачивает его положительный компонент.

Статистика вхождений слова *благодетель* в подкорпусы текстов конкретных писателей демонстрирует его востребованность в творчестве авторов, изображающих быт среднего класса. Из таблицы видно, что оно особенно значимо для поэтики Ф. М. Достоевского.

Корпус / Заданный подкорпус	Объем подкорпуса (кол-во слов)	Число	% от числа вхождений
НКРЯ	283431966	3381	100%
Тексты А. С. Пушкина	417275	17	0, 5 %
Тексты М. Е. Салтыкова-Щедрина	2693112	68	2 %
Тексты Ф. М. Достоевского	1959917	86	2, 54 %
Тексты Н. Чернышевского	278791	3	0, 088 %
Тексты В. В. Крестовского	632518	29	0, 85 %

Тексты А. П. Чехова	1015473	42	1, 24 %
---------------------	---------	----	---------

Табл. 1. Статистика вхождений слова *благодетель* (НКРЯ)

Особый случай аксиологической динамики представляет собой употребление слова *благодетель* в качестве эвфемизма для обозначения богатого человека, берущего на содержание молодую девушку¹. Это значение не фиксируется словарями. Оно особенно активно в 60 – 80 – х гг. XIX в. и очень зыбко, так как затрагивая тонкую сферу личных отношений, противоречащих общественной морали, возникает в эвфемизированных контекстах:

(1) *Когда девочке минуло одиннадцать лет, ее стали посылать в пансион. Генерал в качестве «благодетеля» вносил за нее деньги, а через семь лет неожиданно вздумал завершить свои благодеяния, сделав ее своею законною женой «пред лицом неба и людей».* (Н. С. Лесков. На ножах, 1870);

(2) – *Спасая искренно и горячо от сетей «благодетеля», открывая глаза и матери и дочери на значение его благодеяний – он влюбился сам в Наташу, Наташа влюбилась в него – и оба нашли счастье друг в друге, оба у смертного одра матери получили на него благословение.* (И. А. Гончаров. Обрыв, 1869).

¹ Интересно отметить, что в конверсивной паре *благодетель* – *содержанка* выразительная отрицательная оценка закреплена именно за женской номинацией. Для обозначения мужчины прямая номинация в общем-то отсутствует, а эвфемизм стремится сгладить негативную оценку понятия. В современном русском языке эти конверсивы также представляют интерес с точки зрения аксиологии. Слово *благодетель* вытеснено эвфемизмом *спонсор* и жаргонным *папик*, которые характеризуются, скорее, оценочной энантиосемией, нежели отрицательной оценкой. Слово *содержанка* также утратило яркую отрицательную оценку, достигло некоего динамического равновесия между отрицательной и положительной оценочностью (ср. группы и форумы «Ищу содержанку» zolushka-project, «Содержанка для богатого спонсора» сайт «Содержанки в Москве», интервью с содержанкой на портале mail.ru «Как живет 23-летняя содержанка из Санкт-Петербурга»). По нашему мнению, наблюдение над этими конверсивными парами в динамике показывает серьезные изменения в аксиосфере «личные отношения»: недопустимая, воспринимаемая как антиценность метафора товарно-денежных отношений внедряется в сферу личных и семейных отношений и уже оценивается, скорее, двойственно, нежели строго отрицательно.

Обратим внимание на то, что отрицательная оценка выражается в этом примере и графически. Кавычки указывают на аксиологическую трансформацию, необычное, несловарное значение.

Следующий пример интересен тем, что наивная аксиология, провоцирует коммуникативную неудачу – непонимание говорящих:

*– Да так, что обижаете, ей-богу. – Скажите, пожалуйста, чем же это? да я умру с горя. – Да тем, что называете благодетелем, Елизавета Парфеновна, – продолжал штаб-ротмистр, – ведь **благодетели** бывают обыкновенно люди старые, а я еще не старик. – Так вот что, почтеннейший наш, вот чем обидела, ну не буду впредь, – отвечала Елизавета Парфеньевна, смеясь и усаживаясь на диван, – а ведь я перепугалась серьезно: думала себе, чем же это могла обидеть человека, которого полюбила, как близкого сердцу родного; уж что я, старуха, а то и Полинька. – Может ли быть? – Ей-ей! (В. А. Вонлярлярский. Большая барыня, 1852).*

Елизавета Парфеновна использует слово *благодетель* как похвалу, выражая свою благодарность собеседнику. Его такое обращение не радует, так как в представлении Петра Авдеича *благодетели* бывают обыкновенно люди старые, а я еще не старик. Возможно, он имеет в виду как раз употребление слова *благодетель* в качестве эвфемизма, но коммуникативная ситуация (беседа с дамой) не позволяет ему объяснить истинную причину обиды, и он прибегает к намеку.

Аксиологическую двойственность слова *благодетель* в общественном дискурсе в 70 – 80-е гг. XIX в. определяет политическая позиция говорящего. В публицистике народников оно имеет отрицательную оценку, ассоциируясь со взглядами их оппонентов по политической борьбе:

*Суд правят; к работе понуждают; что есть в карманах, аккуратно сосчитают, – **благодетели!** (Рабочая газета // «Рабочая газета», 1880).*

Отрицательная оценка связана в том числе с тем, что *благодетель* – частотная перифраза для обозначения правящего царя:

(1) *Не страшат бедняка ни тюрьма, ни каторга, не утрашит и виселица, дарованная в числе многих других памятных подарков «любезному русскому народу» его **отцом-благодетелем**.* (Листок Народной воли. Революционная хроника. № 2, 1880);

(2) *Таким образом, воображаемый **царь-отец, попечитель и благодетель народа** помещен высоко, высоко, чуть ли не в небесную даль, а царь настоящий, царь-кнут, царь-вор, царь-губитель, государство, занимает его место.* (М. А. Бакунин. Государственность и анархия, 1873).

Сравним с таким примером:

*Он вдохнул совсем новую жизнь в целое поколение крестьян, сидевших во тьме кромешной, стал поистине **благодетелем** целой местности, основал и ведет, с помощью 4 священников, 5 народных школ, которые представляют теперь образец для всей земли.* (К. П. Победоносцев. Письма Александру III, 1881 – 1889).

Новые взгляды, изменения мировоззрения строятся на новых ценностях, вступая в конфликт с традиционным пониманием хода истории. Язык чутко реагирует на эти трансформации, отражая нюансы прагматики через изменения оценочного компонента.

В первой трети XX в. аксиологическая динамика слова *благодетель* определяется тем сложным шлейфом оценочных оттенков, которые сложились во второй половине XIX в. Нам кажется, это слово можно образно назвать «сигнальным»: попадая в контекст, оно многое сообщает о языковых вкусах и системе ценностей говорящего. Ср.:

Положительная оценка:

*Белогвардейцы именно поэтому не догадались о возможности разоружить моряков и свезти на берег их пушки <...> они поистине великолепны, **эти наши белые благодетели**, которые позволяют нам кичиться раздутой непобедимостью.* (Сергей Буданцев. Мятеж (1919 – 1922).

Отрицательная оценка:

(1) *Сидит буржуа толстопузый, господин коммерции советник Карманников, или помещик, благодетель крестьян, какой-нибудь генерал Забулдыгин, или паук Удавков.* (Б. В. Савинков (В. Ропшин). То, чего не было, 1918);

(2) *Эти муки известны большинству провинциальных радиолюбителей. Муки, усиливаемые тем, что, благодаря бестолковости многих госрадиопродавцов является «благодетелем» частник, получающий товар от тех же госпредприятий.* (неизвестный. «Радиоболельщики» // «Радио Всем», 1928).

Второй и третий пример отражает новые ценности и слово *благодетели* так же, как *помещики* и *частники*, называя явления старой жизни, старой системы ценностей, приобретает отрицательную оценку.

В это же время слово *благодетель* оказывается объектом метаязыковой рефлексии – вероятно, это способ разрешить ценностный конфликт.

В последние дни я думал о капиталистах, разделяя их на «кулаков» и благодетелей (дают блага другим). Помню, один рабочий сказал: «Зачем вы ругаете всех капиталистов, есть ведь и хорошие». (М. М. Пришвин. Дневники, 1927).

Говоря о капиталистах, М. М. Пришвин сопоставляет *кулаков* – слово и понятие из новой системы ценностей, и *благодетелей* – традиционная система ценностей. Он обращается к этимологии слова, усматривая в ней положительную оценку и большую ценность для него имеет корень *благо-*. Отметим, что писатель

не оговаривает *бескорыстность* совершения блага, вероятно, рассматривая его как само собой разумеющееся.

В совсем иной парадигме рассуждает о слове *благодетель* А. М. Ремизов: для него на первый план в семантике слова выходит корень *де* – действие, деятельность, и в этом писатель видит положительную сущность понятия.

«Благодетель» это совсем не то, что «благожелатель» или «советчик». «Благодетель», все равно как и почему, но это всегда реальное, осязаемое, «благожелатель» же – нечто призрачное и может быть очень живым и обольстительным, как сон. «Благожелатель» всегда о тебе знает больше, чем ты сам о себе знаешь, он вообще все знает: а имеет он гораздо больше, чем сколько тебе отмеривает. (Пример из сегодняшнего: когда он говорит, что на такую-то сумму можно прожить сносно, это значит, что сам он проживает куда больше!) (А. М. Ремизов. Взвихренная Русь, 1917 – 1924).

Слово *благодетель* в русском языке советской эпохи оказалось социально чуждым. Оно вовлечено в идеологему, конструирующую образ врага:

Или, может быть, западные «благодетели» мечтают взять на свое содержание верующих из социалистических стран, поделиться с ними своими богатствами? (Василий Коник. Чужбина родиной не станет // «Огонек», 1980).

В этом примере кавычки подчеркивают чуждость слова и понятия *благодетель*, его неуместность в языке и быте граждан «страны развитого социализма». Тем интереснее оно в статье А. Д. Сахарова:

Культ государства, в котором соединяется в разных комбинациях преклонение перед силой, наивная уверенность, что на Западе хуже, чем у нас, благодарность «благодетелю» -государству и в то же время страх и лицемерие. (А. Д. Сахаров. Тревожное время, 1980).

На первый взгляд кажется, что А. Д. Сахаров применяет тот же прием, что журналист «Огонька»: закавычено чуждое слово с отрицательной оценкой, но приложено оно к аксиологически положительному в советской идеологии – государство. Практически А. Д. Сахаров деконструирует идеологему врага. Враг не где-то на Западе, враг внутри – это государство (метонимическая замена ‘государство – государственный строй’). При соположении отрицательной и положительной ценности отрицательная оценка оказывается сильнее.

В современном русском языке слово *благодетель* вновь вернулось к аксиологической двойственности. Положительная оценка:

Тайно грело Сторожева и то, что он был для Наташи благодетелем: у нее пожилые и больные родители, младший брат – тихий инвалид, она никогда не жила так комфортно и обеспеченно. (Алексей Слаповский. Большая Книга Перемен // «Волга», 2010).

Отрицательная оценочность возродила весь предыдущий аксиологический опыт слова:

- Утрата семы ‘бескорыстная помощь’:

И будут вливаться – независимо, кстати, от того, как правительство Юлии Тимошенко выполняет рекомендации мудрых благодетелей-кредиторов. Как раз до тех пор, пока Украина не станет банкротом. (коллективный. Из чего сделано несостоявшееся государство) // «Однако», 2009).

- Конверсивные отношения *благодетель* – *содержанка*:

Мне не давала покоя лёгкость, с которой Юля кружилась по огромной этой квартире. Неожиданно почувствовал, что задыхаюсь от ревности и какого-то дикого отчаяния. В глазах поползли фиолетовые пятна. Захотелось кинуться на благодетеля, врезать с плеча, чтоб очки слетели. Я перебил, довольно резко: – Марк, скажите, а в каком качестве здесь Юля? Он замолчал страшно. (Слава Сэ. Ева, 2010);

- Зависимость от принадлежности к адептам того или иного мнения:

Пресса немедленно раздула из этого шага целый пожар – одни газеты провозглашали Михаила Семеновича благодетелем, другие обливали грязью.
(Андрей Геласимов. Дом на Озерной, 2009);

- Идеологема «враг»:

Мы утерли нос американским «благодетелям» Российских железных дорог, лоббирующим дизель 7FDL. (коллективный. Форум: Американские тепловозы ТЭ33А « Evolution» Ильичевск-Актобе, 2009).

3.2.3. Доброжелатель

В Словаре Академии Российской композит *доброжелатель* определяется как ‘Тоть, который добра кому желает; доброхоть’ [САР Т. 2: ст. 1090]. Словарь русского языка XVIII в. дублирует ‘Тот, кто желает добра кому-, чему-л.’ [СРЯ XVIII Вып. 6: 155].

Дефиниция указывает на явную положительную оценочность слова. Толковые словари русского языка XX в. не отмечают изменений в его семантике и не дают никаких сведений об имплицитной информации, которую слово *доброжелатель* может нести в контексте: ‘(книжн.). Человек, дружески расположенный к кому-н.’ [ТСУ Т. 1: стб. 727]; ‘Тот, кто проявляет участие, расположение, желает добра кому-, чему-л.’ [МАС Т. 1: 409].

Толковые словари не отразили прагматических особенностей употребления слова *доброжелатель* и его способности выступать в качестве эвфемизма в определенных коммуникативных условиях. В Словаре эвфемизмов русского языка Е. Сеничкиной у слова *доброжелатель* выделено два значения с отрицательной оценкой: ‘1. Вм. Злонамеренный сплетник, злопыхатель. Перен. ирон. яз. эвф. Переосмысление слова возникло от

употребления подписи «Доброжелатель» в конце анонимных писем, содержащих информацию, порочащую честь членов семьи или близких людей адресата писем. 2. Вм. агент, стукач. Перен. соц. эвф. <...> Вместо слова *агент* или оскорбительного *стукач* говорят *информатор* или *доброжелатель* (ср., в речи бывшего охранника И. В. Сталина – Рыбина: *Агент неудобно говорить, ну, доброжелатель можно сказать, доброжелатель* – ТВ. 91. 12. 09) [Сеничкина 2008: 114].

Таким образом, уже на основе лексикографических данных можно сделать вывод об оценочной энантиосемии слова *доброжелатель*, которая связана с функционально разными значениями слова (прямое значение и функция эвфемизма).

Механизм оценочной энантиосемии состоит для этого слова в возникновении эвфемизма и закреплении его культурной коннотации в сознании носителей языка.

В последней трети XVIII в. слово *доброжелатель*, подобно композиту *благодетель*, функционально значимо в эпистолярном жанре:

Но это была бы для меня последняя часть, а особливо потому, что надо жить в Гошпитали, т. е. во юдоли плачевной. Усерднейший Ваш доброжелатель и слуга А. Ш. (А. М. Шумлянский. Письмо И. В. Руцкому, 1784).

Оно употребляется в подписи в конце письма и для выражения учтивости, почтения к адресату сочетается с притяжательным местоимением *ваш* и прилагательными в форме элатива (*усерднейший*). Пишущий также указывает в подписи инициалы своего имени и фамилии. В целом выбор для подписи слова *доброжелатель* в это время может и не коррелировать с содержанием письма по признаку ‘сообщить адресату некую информацию, содержащую пользу с точки зрения автора письма’. Семантика слова в таком случае опустошается, на первое место выходит эпистолярный этикет.

Более сложное смысловое соотношение возникает в примере из сатирического журнала «Живописец» П. И. Новикова:

*Сим не кончилось, они продолжали язвить насмешками своими вас и бедного человека, осмелившегося не у места сказать слово, чего нам, беднякам, и вподлинну в таких случаях делать не надобно; но француз, торгующий парижскими безделками на наши весьма действительные деньги, входом своим избавил вас от ругательства и подал время убраться домой пристыженному и осмеянному моему товарищу. Я вышел скоро за ним и, идучи, думал о происшедшем; наконец вознамерился уведомить вас, тем паче, что сие и до вас касается. **Ваш доброжелатель...** (Н. И. Новиков. Живописец. Третье издание, 1775).*

Здесь подпись *доброжелатель* выполняет не только этикетную функцию: автор письма сообщает сведения, которые непосредственно касаются адресата. Рассказ *доброжелателя* о людях, язвительно обсуждавших Живописца, вероятно, строится на пресуппозиции о том, что адресату эта информация неизвестна, притом что такие сведения, если они достоверны, важны для оценки этих людей. В таком контексте *доброжелатель* – это лицо, которое сообщает о поступках, поведении, оценочных высказываниях третьих лиц адресату.

Заметим, что письмо анонимное: имя *доброжелателя* скрыто за многоточием. Замена имени многоточием может объясняться как желанием автора письма остаться неузнанным, так и желанием *Живописца* скрыть имя адресанта, чтобы уберечь его от критики, и форматом журнала.

Отрицательная оценка в этом случае не возникает, так как *доброжелатель* поступает справедливо: сообщает истинную информацию, которая касается третьих лиц и адресата. Безусловно, компонент *добр-* в таком употреблении приближается к оценкам утилитарным: речь идет не о высокой нравственной ценности поведения доброжелателя, а о пользе такого

поведения для лица, к которому субъект обращается. Таким образом, уже в конце XVIII в. можно увидеть предпосылки для появления эвфемизма.

Обычная установка *доброжелателя* – неразглашение имени, отсюда и устойчивое определение *тайный*:

Извещенная ли некоторыми тайными доброжелателями или своим сердцем, она удвоила попечения о милом сыне (Н. М. Карамзин. История государства Российского: Том 10, 1821-1823).

Семантика составных элементов композита определила особенности функционирования слова, не отраженные в словарной дефиниции. Если в морфемной структуре слова *благодетель* заложена идея об активном направленном действии, в структуре слова *доброжелатель* – лишь наблюдение за действием¹.

Эти два слова изначально представляют две концепции добра: добро, проявляющееся активным участием в судьбе нуждающегося и само по себе не вызывающее сомнений, абсолютное, и добро как предупреждение зла, при том что представление о зле относительно². Действия *доброжелателей* чаще всего описываются глаголами со значениями вербальной и интеллектуальной деятельности. Нередко указание на непрямой, анонимный характер действия уже есть в семантике глаголов, либо присутствуют слова со значением ‘тайно’:

(1) *Впрочем, доброжелатели ее распустили слух, что она вовсе не дочь камердинера, а в самом деле незаконная дочь графа, чем и объяснялась тайна ее*

¹ Ср. уже приводившееся ранее рассуждение А. Ремизова: «Благожелатель» всегда о тебе знает больше, чем ты сам о себе знаешь, он вообще все знает: а имеет он гораздо больше, чем сколько тебе отмеривает. (Пример из сегодняшнего: когда он говорит, что на такую-то сумму можно прожить сносно, это значит, что сам он проживает куда больше!) (А. М. Ремизов. Взвихренная Русь, 1917-1924).

² Человек, спасающий утопающего, может быть назван благодетелем, но не доброжелателем. Человек, сообщающий об измене может быть назван доброжелателем, но не благодетелем.

воспитания. Это открытие было вменено ей в особую почесть, в необыкновенное счастье, и привлекло целое стадо женихов. (В. А. Соллогуб. Теменевская ярмарка, 1845);

(2) В течение нескольких вечеров после того у короля с королевой-родительницей происходили тайные совещания, о которых **доброжелатели** Гиза **уведомляли** его **безымянными письмами**. (Кондратий Биркин (П. П. Каратыгин);

(3) *Временщики и фаворитки XVI, XVII и XVIII столетий. Книга первая, 1870*);
Будьте твердо уверены, что вам пишет друг и тайный ваш доброжелатель.
(В. В. Крестовский. Панургово стадо, Ч. 1-2, 1869).

Можно отметить, что действия *доброжелателя* определяются его симпатией к объекту, общностью взглядов.

Поскольку тайное в русской языковой картине мира оценивается, скорее, отрицательно¹, то и действия *доброжелателя*, обусловленные, к тому же, скрытыми мотивами, аксиологически интерпретируются неоднозначно. Вероятно, в противоречие вступают словообразовательный компонент *добр-* и семантический, но нерегулярный 'тайно'.

Возникает своеобразная градация. С одной стороны, *истинные доброжелатели* (может также встречаться устойчивое определение *искреннейшие*), то есть те, чьи благие намерения доказаны, не вызывают сомнений, – положительная оценка. С другой стороны, слово *доброжелатель* без дополнительных метаязыковых указателей – скорее положительная оценка.

Развитие этой шкалы относительного представления о добре и этноспецифическое отрицательное отношение к тайному способствует становлению оценочной энантиосемии слова *доброжелатель*. Она начинает ярко проявляться в конце 80-х гг. XIX в.:

¹ Ср. *тайком, потихоньку, скрытно, молчком, втихомолку, тихой сапой* – все эти наречия выражают отрицательную оценку.

Считая моим благодетелем усопшего Государя, я было собрался ехать в Петербург, но после долгого размышления определил, что моё место там вовсе не необходимо и что, пожалуй, мои «доброжелатели» из-за злорадства скажут: «Вот он обрадовался и щеголяет, что близок к Государю Александру Александровичу, и навязывается, пользуясь столь прискорбным исходом жизни Царя-Освободителя». (А. П. Боголюбов. Записки моряка-художника, 1888).

В этом примере ироническое употребление слова *доброжелатели* отмечено кавычками, хотя на его отрицательную оценку в таком контексте указывает слово *злорадство*. Нам также видится в этом контексте языковая игра – оксюморон, построенный на соединении в одной фразе слов с противоположной семантикой и антонимичными компонентами – *добро-* / *зло-*.

В следующем примере слово *доброжелатели* также употреблено с отрицательной оценкой, причем сигнификативный аспект его значения существенно изменен, он приближается к слову *сплетник*:

*Нередко убежденного писателя обступает целая толпа **доброжелателей**, которые выпытывают его мысль и, успех в своем предательском предприятии, отдают эту мысль, – разумеется, снабженную своеобразными комментариями, – в жертву поруганию. (М. Е. Салтыков-Щедрин. Мелочи жизни, 1886 – 1887).*

Оценка может также актуализироваться сочетанием слова *доброжелатель* с существительным в родительном падеже со значением принадлежности:

*Фрейштетеры после потери Кронье и его армий растерялись было, чем конечно старались воспользоваться тайные **доброжелатели англичан**, чтобы посеять в войсках панику <...> (Е. Максимов. Письмо, 1900).*

Очевидно, что *доброжелатели англичан* иначе могли быть названы *недоброжелателями фрейштетеров*. Лицо, обозначенное словом

доброжелатель, оказывается между двумя противоборствующими силами: если *доброжелатель* примыкает к группе А, то группа В оценит его отрицательно. Обратное также верно: если группа В оценит положительно, то группа А отнесется отрицательно. Таким образом, благодаря оценочной энантиосемии слово *доброжелатель* – конверсив «в себе».

Апеллируя к анонимности, сокрытию лица, слово *доброжелатель* не отражает и пола, причем как при положительной, так и при отрицательной оценке:

(1) *Фельдшерница и Соболев (наш земский врач) что могут сделать, когда им прежде лекарства надо хлеба, которого они не имеют? Управа земская отказывается тем, что они уже выписаны из этого земства и числятся в Томской губернии, да и денег нет. Сообщая об этом вам и зная вашу гуманность, прошу, не откажите в скорейшей помощи. Ваш **доброжелатель**». Очевидно, писала сама фельдшерница или этот доктор, имеющий звериную фамилию. (А. П. Чехов. Жена, 1892);*

(2) *«Моим «доброжелателям» мужского и женского пола, – пишет он в предисловии к одному из своих изданий, – распустившим слух, что я сошел с ума, будет приятно узнать, что слух этот быстро распространился и сделался предметом многочисленных оживленных споров. (А. Н. Анненская. Чарльз Диккенс. Его жизнь и литературная деятельность, 1891).*

Несмотря на развернувшуюся в 30-е гг. XX в. политику репрессий, при которой аресты производились по анонимным доносам, подписанным словом *доброжелатель*, слово сохраняло аксиологическую двойственность, которая отражена и в следующем примере:

*День без тревог. Все полны хлебными нормами января: полное совпадение цифры – 400 гр. по первой категории. Сегодня два пищевых события: в столовой нашей получил две каши, вырезав талон на одну. Второе – **неизвестный доброжелатель** дал мне иждив. хлебную карточку, предлагая отдать частями в*

январе, «когда наверное по раб. категор. будет 400 гр.» . Отказался сперва, потом, видя упорство в предложении, взял. Это примечательно. Завтра утром обещали какую-то замену утерянной. (Александр Болдырев. Осадная запись (блокадный дневник), 1941-1948).

В этом примере употребление слова *доброжелатель*, кажется, противоречит его предыдущей истории, так как герой получает существенную и очень ценную помощь. Возможно, на выбор слова влияние оказала частотность сочетания *неизвестный доброжелатель*, которое к середине XX в. уже приобрело характер автоматизированного. Внутренняя форма (корень *добр-*) преодолела отрицательную культурную коннотацию. Важную роль, вероятно, сыграло и желание подчеркнуть компонент *неизвестный*, анонимность помощи.

Нужно отметить и попытки приукрасить отрицательную коннотацию слова *доброжелатель*:

*Я хотел было написать вам это письмо шифром, выработанным в своё время в нашей лагерной подпольной организации, но не уверен в том, что вы сможете его прочесть. Будьте осторожны. Вас завлекают с целью скомпрометировать. Верный сын народа и **Ваши доброжелатель**». <...>При всем предубеждении против анонимок тут, где все гудело от антисоветских интриг, Кручинин не мог не задуматься над подобным предупреждением. (Н. Н. Шпанов. Ученик чародея (1935-1950).*

Метаязыковая рефлексия над переосмыслением эпистолярной этикетной функции слова *доброжелатель* под текстами анонимных доносов часто возникает в текстах примерно с 70-х гг. XX в. Пример иронической интерпретации содержится в следующем контексте:

Я записал все, как он сказал. Рафик посоветовал не подписываться своим именем, не дай бог, оно попадет в руки Пахана. Юрка согласился, что своим именем подписываться необязательно, но нужен хороший псевдоним. – Напиши

«доброжелатель», – предложил Рафик, – мой дядька всегда так подписывается.
– Твой дядька – анонимщик, – сказал ему Юрка, – а это любовное послание...
Вообще не нужно подписываться. Ты же сам отдашь письмо из рук в руки,
можно и без подписи. (Рустам Ибрагимбеков. Забытый август // «Юность», 1972).

Условия коммуникации таковы, что требуют конфиденциальности. Автор письма оценивает прагматический потенциал нескольких способов сохранения анонимности автора: подписаться *доброжелатель*, подписаться псевдонимом или оставить послание без подписи. Комична сама ситуация применения стратегии доноса к любовному посланию.

Тема доносов имплицитно входит и в анекдоты:

Пятачок пишет письмо в налоговую инспекцию: «Хорошо живет на свете Винни Пух. Доброжелатель».

На протяжении 60 – 80 гг. XX в. оценочная энантиосемия сохраняется.

Положительная оценка:

*Когда сделалось известным, что в Союзе начальство готовится ее исключать и уже подбирает для публичного шельмования кадры, один из Фридиных **доброжелателей** посоветовал ей на время уехать из города, взять какую-нибудь дальнюю и долгую командировку и уехать. (Л. К. Чуковская. Памяти Фриды, 1966-1967).*

Хотя положительная оценка может быть и несколько размытой, сочетающейся с иронией:

(1) – *Где одухотворенность?.. – ...пламенность?.. – ...эфирность?.. Почему **доброжелатели**, если они есть, так молчаливы, застенчивы и неприметны? (Ю. М. Нагибин. Где стол был яств..., 1972 – 1979).*

(2) *Показываю одному из своих **доброжелателей**, вижу, он недоволен. – Ну зачем вы пишете в требовательном тоне? Просите. Расскажите, что вы из рабочих,*

что вы написали песню космонавтов, напишите, что жена в положении, и мне это неудобно вам говорить, но намекните им как-нибудь, что вы не еврей. (Владимир Войнович. *Иванькиада*, или рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру (1976).

Прагматика отрицательной оценки более многообразна и возникает, когда учитываются и сочетаются различные внеязыковые и внутриязыковые факторы. Слово *доброжелатель* – с отрицательной оценкой

- выступает как эвфемизм ‘сплетник, злопыхатель’:

(1) И многие стали гадать: кого Санин изобразил под фамилией Дугин? И кто-то из «доброжелателей» убедил Боровского, что, наверное, его. Это Боровского, главного наряду с Василием Сидоровым героя расконсервации Востока! Тщетно я доказывал Николаю Семенычу, что повесть не документальная и автор имеет право на вымысел <...> (Владимир Санин. Не говори ты Арктике – прощай, 1987);

(2) А друг твой, приятель, доброжелатель, который передал тебе чужие слова, он-то почему спокойно их выслушал, не оборвал, если это нелепость или сплетня, не возразил, если это заблуждение? (Т. Александрова. Голубая змея // «Работница», 1980).

- выступает как эвфемизм ‘стукач, шпион’:

Доброжелатель предъявил ему даже скрытно сделанные фотографии и детальный план его квартиры. (Игорь Лебедев. Пять пуль профессору Бюллю // «Техника – молодежи», 1991).

- выступает как метонимическая номинация ‘автор доноса’ (перенос ‘подпись на доносе – подписавшийся – автор доноса’):

Кто ее знал, собственно говоря? Только те «доброжелатели», трусившие поставить свою подпись? Вот под этой сиреновой мерзостью? Но это глупо –

бояться тех, кто сам по-заячьи трусит... Уж не путает ли она, не смешивает ли его с ними? (Георгий Полонский. Медовый месяц Золушки (1986) // «Театр», 1988).

- входит в круг лексических единиц, создающих идеологему «враг»:

(1) *Меньше всего западных «доброжелателей» волнуют и судьбы наших людей, их благополучие.* (Василий Коник. Чужбина родиной не станет // «Огонек», 1980);

(2) *Трезвая оценка ситуации приводит к выводу: нужно использовать все возможные средства, в том числе и рубль, и кулак, и униженные просьбы, обращенные к **иноземным доброжелателям**.* (С. Смолкин. Коммунальное мышление. Надежно ли наше жилище? // «Огонек». № 5, 1991).

Иногда аксиологическая двойственность подчеркивается намеренно:

*Еще об одном моменте, затронутом и в твоём письме, и в некоторых других, и в здешних моих разговорах со всякими **доброжелателями в кавычках и без кавычек**.* (Юлий Даниэль. Письма из заключения, 1966 – 1970).

В этом примере затронут интересный филологический вопрос: действительно, кавычки часто становятся сигналом оценки, противоположной словарной семантике, сигналом противоречия между формой и содержанием. Однако никакой последовательности в употреблении кавычек нет. Их применение зависит от языкового вкуса автора высказывания.

Кроме того, нужно отметить существование контекстов, в которых невозможно достоверно определить оценочный знак:

*Реальность приоткрылась молодому человеку, он узнал, что кроме учителей и интегралов есть еще **доброжелатели**, недруги, личные склонности, давняя вражда, тайные цели, дипломатия; он обнаружил, что имеется еще и внешний*

мир, который тоже по-своему относится к их Лаборатории, и с этим надо считаться. (В. Ф. Кормер. Наследство, 1987).

Доброжелатели оказываются демаркационной линией между положительным в жизни героя (*учителя, интегралы* как метафора любимой профессии) и отрицательным – *недрузи, личные склонности, давняя вражда, тайные цели, дипломатия.*

В русском языке оценочная энантиосемия также сохраняется, хотя говорящим нередко тяжело осмыслить противоречие между внутренней формой слова и его оценочным содержанием. В результате расширяется употребление метаязыковых указателей оценки:

(1) *Сволочная судьба все время испытывает мои душевные и физические резервы. Пока держусь... за всех вас, моих доброжелателей (в прямом смысле слова, а не в ироническом) ¹.* (Пример из сетевого общения).

(2) *А если коллектив доброжелательный, в прямом смысле этого слова, он может реально помочь в воссоединении.* (Пример из сетевого общения).

(3) *Здравствуйте все доброжелатели, в прямом смысле слова, без подконтекстов! Извините, что пропал, в больничке валялся, здоровице подвело несколько...* (Пример из сетевого общения).

(4) *Я можно сказать доброжелатель в прямом и переносном смысле. Отвечай спокойненько.* (Пример из сетевого общения).

Интересно заметить, что подобные метаязыковые указатели встречаются и при прилагательных и наречиях с теми же корнями:

Преподавательница его очень доброжелательно (в прямом смысле) спрашивает: «А вы что тут делаете?» На что он, подумав, выдает: «А я людей

¹ В примерах из интернета сохраняется авторская орфография и пунктуация.

ищу!»... Настроение у всех у нас заметно поднялось! (Пример из сетевого общения).

Сомнения в однозначности оценочного знака слова *доброжелатель* порождает и такой контекст:

Конечно, мы понимаем, что отвечали нам наши доброжелатели, те, у кого о журнале сложилось в общем-то положительное мнение. (обобщенный. «Поставьте галочку». Анкета читателей. Итоги // «Наука и жизнь», 2006).

Наречие *в общем-то* включает в своем значении долю сомнения, которая отбрасывает тень и на *положительное мнение*, и на *доброжелателей*.

Двойственностью оценочного компонента воспользовались дизайнеры обложки студенческой зачетной книжки, украсив ее двусмысленной надписью: *Чтоб ты сдал! Доброжелатель*



Рис. 1. Обложка для зачетной книжки, украшенная надписью «Чтоб ты сдал! Доброжелатель».

В этом тексте двусмысленно пожелание, напоминающее речевую формулу проклятия по своему грамматическому оформлению (ср.: *Чтоб ты сдох!*). Подпись *доброжелатель* может прочитываться и с отрицательной, и с

положительной оценкой в зависимости от того, на какой компонент – семантический (пожелание успешной сдачи) или грамматический (речевая формула проклятия) сделает акцент человек, рассматривающий картинку. Нужно отметить, что графическое оформление текста также способствует двойственному восприятию и пониманию его смысла. С одной стороны, разноцветные, разноформатные буквы кажутся легкомысленными и жизнеутверждающими, но с другой стороны, слова как будто составлены из вырезанных букв, что является известным способом скрыть свой почерк и сохранить анонимность. Как нам кажется, такой двойственный текст приближается к магическому, что ценно для предмета, участвующего в ритуале¹ – экзамене.

Испорченная репутация, закрепившись в исторической памяти слова, порождает любопытную метаязыковую рефлексию носителей русского языка. Стремление разрушить энантиосемию, разделить, разграничить однозначно и выразительно «хорошее» и «плохое» значения видятся нам в следующем рассуждении. Автор блога, называющий себя в интернете *Бабушка на лавочке*, разрушает оценочную энантиосемию, изменив орфографию – доброОжелатели и добрАжелатели:

«В современном мире часто путаются эти два понятия. Вслушайтесь. Вчитайтесь. Вдумайтесь. Мне, человеку прожившему более полувека при трёх разных режимах, бывает обидно... хотя нет, не обидно, а досадно, что многие люди сейчас не видят разницы.

Кто такой “ДобрОжелатель” – это кажущийся верный друг, товарищ и советчик, который всегда в глаза похвалит, скажет слова в вашу поддержку, поднимет вам настроение... и даже если вы чувствовали какое-то неудовлетворение от своей работы или действия, то после слов ДобрОжелателя будете уверены в том, что сделали всё просто отлично.

ДобрОжелатель... хороший человек... но на самом деле ему глубоко наплевать на ваши переживания. Ему хочется, чтобы Вы “поменьше ныли”. Он не хочет быть

¹ По Ю. М. Лотману

вашей “жилеткой”, в которую так хочется поплакаться в случае неуверенности или неудачи.

Поэтому ДобрОжелатель находит самый выгодный для себя вариант: поддакнуть вам, согласиться с вашим мнением (не всегда объективным), побыстренько убедить вас в том, что Вы – самая лучшая, а остальные просто из зависти придираются...

А на самом деле, утешая вас, мысленно проговаривает “Да отстань ты, вот прилипла, неудачница, зазнайка, выскочка” Не верите? Вспомните давние-стародавние времена, когда пасквили и анонимки подписывали таким ёмким словом “Ваш ДобрОжелатель”

Подумайте...

Есть люди с другим характером: неравнодушные, желающие прийти на помощь, помочь достигнуть высот... Это Добра желатели.

Зачем это этим людям надо? Объясняется очень просто. Им хочется, чтобы мир стал лучше. Чтобы вокруг были люди с чистым, открытым сердцем. Чтобы не было недомолвок и “шушуканий по углам”. Чтобы каждый понимал что он на самом деле стоит и стремился к самосовершенствованию.

Как ни странно, но именно Добра желатели очень часто оказываются в центре интриг и скандалов. Их очень часто не понимают, “принимают в штыки”. И всё не потому, что человек, к которому Добра желатель проявил искреннее внимание, не понимает, что ему действительно желают добра! А потому, что ему просто не дают этого понять ДобрОжелатели.

Вот и происходит извечная борьба между “О” и “А” Выбирайте сами, с кем вы хотите быть: с вечно поддакивающими, но равнодушными ДобрОжелателями или с Добра желателями – которые не оставят вас в покое, которые заставят вас полюбить своё дело и добиваться каких-то высот». [Бабушка на лавочке¹: «Добро желатели» и «Добра желатели» – в чем разница?: 2015].

На вопрос «Доброжелатель – это кто?»² были предложены следующие ответы:

¹ Бабушка на лавочке – ник автора эссе.

² Дискуссия в сети [Доброжелатель – это кто?: 2013].

(1) *Как по мне, это ироничное название банального сплетника и доносчика. По крайней мере, мне это слово встречалось лишь в контексте подписи под анонимным доносом «Неизвестный доброжелатель». [Доброжелатель – это кто?: 2013].*

(2) *Технически, доброжелателем не является. Как правило, за любой анонимкой стоит удовлетворение личных корыстных мотивов, пусть даже моральных [Доброжелатель – это кто?: 2013].*

Эти ответы даны 4 года назад¹, их авторов поддержало 2 человека². Автор комментария уловил оттенки употребления слова с отрицательной оценкой, интересно также слово *технически* в качестве метаязыкового указателя на внутрисловную антонимию.

Комментаторы, отвечавшие на вопрос в 2017 г., почти единодушно отмечают положительную оценку слова. Конечно, жанр анонимного комментария не позволяет судить о возрасте, поле, уровне образования отвечавших и голосовавших за ответы. Наконец, нельзя быть уверенным в том, что отвечали, действительно, разные люди. Можно лишь высказать предположение о том, что все они моложе 50 лет, так как имеют смутное представление о практике анонимных доносов. Как нам кажется, мы можем рассматривать авторов ответов как референтную группу, объединенную по признакам ‘пользователи интернета’, ‘посетители конкретного сайта’. В целом у нас создалось впечатление, что эти комментарии позволяют судить о некой усредненной языковой личности – носителе русского языка.

(5) *Уж не знаю, почему некоторые навязывают слову Доброжелатель негативное значение, но как по мне, это человек, который желает конкретному лицу или группе лиц добра, а может и всему миру. Если разобрать само слово*

¹ К сожалению, в дискуссии датировка комментариев относительная: можно увидеть, какой из них добавлен раньше, а какой позже. Точная дата не отображается, хотя даже эта относительная последовательность позволяет наблюдать микродинамику..

² Данные о комментариях на 22.11.2017.

Доброжелатель более подробно, можно разделить его на два слова – желатель добра. То есть, снова – тот, кто желает добра. А вот есть у данного слова антоним – недоброжелатель, оно-то и описывает человека недобросовестного, негативного.

Это лично мое мнение, так я воспринимаю это слово, так я его слышу, такие ассоциации возникают. Хотя в словарь за справкой не заглядывал)))
[Доброжелатель – это кто?: 2013].

В этом комментарии возникают идеи, которые полностью или частично повторяются в последующих: 1. Попытка описать семантику и прагматику слова исходя из его внутренней формы. 2. Признание в неосведомленности об источнике отрицательной оценки. Безусловно, интересна убежденность носителей языка в мотивированности семантики слова.

(6) Красивый псевдоним, человека пожелавшего остаться неизвестным, но желающего вам добра... Очень часто этим словом подписывают анонимки, содержание которых, по мнению «доброжелателя» принесет пользу адресату.
[Доброжелатель – это кто?: 2013].

(7) На мой взгляд словом «Доброжелатель» называют человека, который пожелал остаться неизвестным и анонимно сделал что то хорошее для кого то. Не знаю почему, но некоторые люди связывают это с негативной стороной – то-есть по их мнению так называют плохих людей, которые сделали (сказали) что то плохое для кого то (так же анонимно), а вот смелости у них не хватило – чтобы показать что сделали это именно они. Само слово говорит за себя – что так называют человека, который желает добра и оно положительное нежели отрицательное и негативное. [Доброжелатель – это кто?: 2013].

(8) Доброжелатель – человек, желающий добра. Человек, предоставляющий определённую информацию, которая приводит вас к положительным результатам. «Доброжелателем» в ироничном контексте могут называть кляузника или человека, предоставляющего заведомо ложную информацию.
[Доброжелатель – это кто?: 2013].

Интересно, что автора комментария, который в целом отразил ситуацию энантиосемии, поддержали всего лишь два человека.

(9) Тут вся семантика этого слова, по сути заложена в его названии, так как оно говорит о том, что кто то и кому то, желает добра. Конечно тут не имеется в виду под словом добро, какое то нарочитое деяние или группа и совокупность деяний, а просто имеется в виду, что человек, причем слово объемлет оба пола, радушный или радушно расположен в целом к вам и остальным людям. [Доброжелатель – это кто?: 2013].

Девятый комментарий нас заинтересовал стилем: употребление термина *семантика* и тут же слово *название*, книжная лексика (*деяние, объемлет, нарочитый*), при этом имеются орфографические и пунктуационные ошибки.

(10) Слово ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ происходит от слов «добро» и «желать». То есть это человек, который желает кому-то добра, хочет, чтобы у другого человека все было хорошо, как надо. И доброжелатель может дать совет, который может пригодиться, а может и не пригодиться в жизни. Но есть и негативная сторона этого слова, когда доброжелателем называют человека, который делает что-то гадкое, подлое, при этом остается анонимным. (комментарий добавлен более месяца назад, за него никто не проголосовал) [Доброжелатель – это кто?: 2013].

В десятом комментарии тоже отражено наивное представление об энантиосемии, но такую точку зрения о содержании слова *доброжелатель* пока не поддержали.

Содержание комментариев за последние четыре месяца позволяют говорить о том, что семантика и прагматика слова *доброжелатель* выходят на следующий виток. Конечно, оценочная энантиосемия вряд ли будет преодолена. Она обусловлена не только экстралингвистическими факторами,

которые, как мы увидели, имеют свойство забываться, но и глубинной семантикой. Однако пример слова *доброжелатель* нам кажется очень показательным: мы наглядно наблюдаем сосуществование разновременных компонентов семантики в сознании носителей языка, а также возможности отката в языковое прошлое семантического и прагматического компонентов слова в процессе функционирования языка.

3.3. Чреватый¹

В. В. Виноградов рассматривал историю слова *чреватый* как пример утраты номинативного и развития фразеологически связанного значения в статье «Основные типы лексического значения». В. В. Виноградов писал: «В русском литературном языке с XV до конца XVIII в. славянизм *чреватый* (ср. народно-областное *черевистый*) употреблялся как синоним народных слов простого стиля *брюхатый, беременный, пузатый* <...> В 30 – 40-х годах XIX в. в научно-публицистических сочинениях оно применяется со значением: ‘способный вызвать, породить что-нибудь’ (какие-нибудь последствия, события)... Так слово *чреватый*, утратив свое прямое номинативное применение, развивает фразеологически связанное значение и реализует его в сочетаниях с формой творительного падежа ограниченной группы отвлеченных существительных (чаще всего *последствиями*)» [Виноградов 1977: 154].

В Словаре Академии Российской словарная статья к форме мужского рода прилагательного *чреватый* отсутствует, поскольку в XVIII в. слово имело только гендерно маркированное номинативное значение: ‘Брюхатая, непраздная, имѣющая во чревѣ младенца’ [САР Т. 6: ст. 800].

¹ Этот раздел написан по материалам совместного доклада В. А. Мельничук, Л. В. Зубова «Лексико-грамматический аспект аксиологической динамики на примере слова *чреватый*», прозвучавшего на XLV Международной филологической научной конференции (Санкт-Петербург, 14 – 21 марта 2016). По итогам доклада была опубликована одноименная совместная статья [Мельничук, Зубова 2016].

Только форма женского рода отмечена и в Словаре церковнославянского и русского языка 1847 г., не отразившем изменений в семантике слова: *чреватая* ‘Имѣющая во чревѣ младенца; беременная, брюхатая’ [СЦРЯ 1847: 442]. Данные НКРЯ показывают, что употребление церковнославянского по происхождению *чреватая* в таком значении актуально примерно до середины XVIII в., уже с 40-х гг. с ним конкурирует русское слово *беременная*. Уже в заданном подкорпусе НКРЯ за 1770 – 1800 гг. мы видим такую статистику: слово *чреватая* встречается единожды, а слово *беременная* – в 18 контекстах. Как иллюстрация семантического потенциала, определившего последующую историю слова *чреватый*, интерес представляет такой контекст:

*Когда земля богатствами **чревата** быть должна, то надлежит уже земледелию отворять ее лоно: купец, о едином богатстве старающийся, не оставляет ничего, не приложив своих трудов. <...> Бывают такие скуные земли, коих чрезмерными иждивениями к плодородию принуждать должно; купец сие сделать в состоянии (Д. И. Фонвизин. Торгующее дворянство, 1766).*

В основе этого отрывка развернутая метафора: плодоносящая земля представлена через образ беременной женщины. Уже в этом контексте проявляется сочетаемость с творительным падежом существительного, которое, как отметил В. В. Виноградов, оформляет у слова *чреватый* фразеологически связанное значение и выразительную положительную оценку. Любопытным нюансом значения в этом случае является его перспективность: богатства заключены внутри земли, и обрести их можно лишь выведя наружу, что требует некоторого ожидания. Таким образом, состояние (*чревата*) и результат (*плодородие*) дистанцированы.

С начала XIX в. слово *чреватый* употребляется в значении ‘способный вызвать, породить что-либо’, которое обязательно требовало подчиненного компонента в творительном падеже. При переносном употреблении между производящим и производным значениями могла присутствовать живая

образная связь. Переносное значение связывается с метафорическим образом плодоносящего чрева и будущего плода. Причем «порождающее и порождаемое», «вместилище и вмещаемое» при слове *чреватый* находились в природной, естественной взаимосвязи и обозначались словами с вещественным или конкретным значением:

Вращают сонмы бурь, чреватых ливнем чёрнымъ. Замгътимъ здѣсь первое, что ливень (т. е. дождь) не бываетъ черный, но прозрачный. (А. С. Шишков. Письма И. Дмитриеву, 1818 – 1821).

Придирчивый критик, А. С. Шишков никак не комментирует переносное значение слова *чреватый*. Можно также заметить, что такое употребление слова *чреватый* характерно для стиля романтизма.

(1) <...>ливень пролился с двойною яростію, будто перун расторг **чреватые** водою тучи... (А. А. Бестужев-Марлинский. Вадимов, 1834).

(2) <...> и тут ступаешь на землю, **чреватую** металлическими богатствами (Ф. Ф. Вигель. Записки, 1850 – 1860).

Образный потенциал такой конструкции был оценен и поэтами XX в.:

*утихла боль, утешилась жена,
эфир дрожит от радостного хора,
но – грохотом чревата тишина!*

(С. Кирсанов)

С начала XIX в. фиксируются примеры, в которых позиция обязательного дополнения в творительном падеже занята существительными с невещественным значением:

(1) Тогда время **чреватю** было происшествіями, ознаменовавшими конец осмнадцатого века. (Московские записки // «Вестник Европы», 1811).

(2) *Ночь была ужасная, ноябрьская, – мокрая, туманная, дождливая, снежливая, чреватая флюсами, насморками, лихорадками, жабами, горячками всех возможных родов и сортов – одним словом, всеми дарами петербургского ноября.* (Ф. М. Достоевский. Двойник, 1846)

(3) *<...>да ведь и завтра не легче, потому что из-за завтра глядит столь же черное и чреватое разными невзгодами послезавтра...* (М. Е. Салтыков-Щедрин. Брусин, 1847 – 1848).

(4) *<...>гостья эта сделала в ту же минуту расправу, дав им обоим по пощечине и несколько назидательных уроков, и затем прошла, чреватая неожиданною новостью, прямо в покои Анны Мироновны, где и разрешилась мгновенно и благополучно от бремени своего* (В. И. Даль. Вах Сидоров Чайкин, или Рассказ его о собственном своем житье-бытье, за первую половину жизни своей, 1843).

Нельзя не отметить, как отличается эмоциональная окраска этого переносного употребления от развернутой метафоры *чреватая земля*, приведенного выше (Д. И. Фонвизин). Генетический церковнославянизм не просто входит в иронический контекст, но и становится пуантом иронического эффекта, благодаря сочетанию первоначального значения ('беременный') и более поздней фразеологизированной семантики.

При этом слово воспринимается как книжное:

*– Прости! Я притворяться не могу. Ты госпожа своих поступков, но я не в силах радоваться тому, что в ближайшем будущем **чреват**... всякими последствиями.*

*– **Чреват**! Ах, Ваня! Что за книжное слово! Я не вообразала, что ты... такой... не упрямец, а гораздо хуже – ревнивец.* (П. Д. Боборыкин. Однокурсники, 1900).

Оценочность слова *чреватый* оказалась в прочной зависимости от оценочного компонента дополнения. Когда позицию обязательного

дополнения начали заполнять существительные с абстрактным значением (*новость, происшествие, событие*), признак природной связи «вмещающее – вмещалище» ослаб. Доминирующей стала идея будущего плода, но уже не в буквальном, а в переносном, абстрактном смысле, **результативность** «порождения». Очевидно, этому способствовало и значение творительного падежа. Существительные-дополнения, сочетавшиеся со словом *чреватый*, будучи более нагруженными семантически (именно они заключали значение результата), переносят свою оценочность на слово *чреватый*. Как нам кажется, именно сочетание с обязательным дополнением, наравне с формированием фразеологически связанного значения, спровоцировало оценочную энантиосемию слова *чреватый*.

Положительная оценка:

*Можете себе представить, дорогой Александр Алексеевич, сколько я успехов имел нынешнюю зиму, правда чрезвычайно трудную для меня, но и зато необыкновенно счастливую и, вероятно, **весьма чреватую хорошими последствиями** в почвенном деле.* (В. В. Докучаев. Письмо А. А. Измаильскому, 1890).

В этом примере составляет интерес также употребление прилагательного *чреватый* с наречием степени *весьма*. По первому значению ‘беременная’ слово *чреватый* принадлежало к относительным прилагательным, которые не могут иметь степеней сравнения и не сочетаются с наречиями степени, так как обозначают неградуированный, равномерно интенсивный признак. На основании этого примера мы можем говорить о лексико-грамматическом сдвиге, который был давно предопределен семантически – прилагательное *чреватый* перешло в разряд качественных.

Отрицательная оценка:

*Мало того, что она держит народ в невежестве и убивает в нем чувство самой простой справедливости к самому себе (до этого, по-видимому, никому нет дела), – она **чревата последствиями иного, еще более опасного, с точки зрения предупреждения и пресечения, свойства.*** (М. Е. Салтыков-Щедрин. За рубежом, 1880 – 1881).

Формирование оценочной энантиосемии отражает словарная статья *чреватый* в Толковом словаре Д. Ушакова: '(книжн.). Такой, что может породить, произвести что-н., что может вызвать те или иные последствия (*первонач. с большим чревом, беременный*).

(1) *Событие, чреватое самыми неожиданными последствиями.*

(2) *Спустилась мгла, туманами чревата.* Блок.

(3) *...Капиталистические страны чреваты пролетарской революцией...*
Сталин («Итоги первой пятилетки») [ТСУ Т. 4: ст. 1291].

Примеры, иллюстрирующие словарную статью, представляют динамику семантического развития слова и удачно отражают прагматику. Пример из стихов А.Блока отражает былую образную связь «вместилище – плод» и воспринимается, скорее, как поэтизм, а не живое употребление. Первый контекст, приведенный в словарной статье, иллюстрирует идею двойственности (**те или иные** последствия), но оказывается недостаточно наглядным: определение *самые неожиданные* сглаживает потенциальный негативный смысл *последствий* и попутно понижает значимость *события*.

В конце XIX – начале XX в. выражение *чреватый последствиями* было публицистическим клише, в связи с чем И. Бунин оценивал слово *чреватый* так: *Ах, здесь слышен стук гробовой лопаты! Ах, тут феи на лугу кружатся, а тут гремят водопады! Эти феи одно из самых ненавистных мне слов! Хуже газетного «чреватый»!* (И. А. Бунин. Жизнь Арсеньева. Юность, 1927 – 1933).

Третий пример, иллюстрирующий словарную статью, интересен как дань советской идеологии, получившей отражение в лексикографии:

Капиталистические страны чреваты пролетарской революцией...

Сталин («Итоги первой пятилетки»).

В том объеме, в котором пример дан в качестве иллюстрации, контекст кажется нелогичным: *Капиталистические страны* как негативный субъект (в идеологической оценке эпохи) – *чреваты* ‘может породить, произвести что-н., что может вызвать’ – *пролетарской революцией...* (положительный объект (в идеологической оценке эпохи)). Знакомство с более обширным контекстом показывает, что «капиталистические страны» – метонимический перенос «рабочий класс капиталистических стран», таким образом, аксиологический баланс в норме: положительное порождает положительное. Как нам кажется, составитель Словаря, указав на аксиологическую двойственность в толковании, в примерах всё же стремился сгладить отрицательную оценку.

МАС выделяет у слова *чреватый* два значения: ‘1. Устар. и спец. Беременная, в состоянии беременности. 2. чем. Способный родить, произвести что-л., могущий вызвать что-л. (чаще нежелательное, неприятное)’ [МАС Т. 4: 684], что еще раз подтверждает наши наблюдения о закреплении оценочного компонента за семантикой слова *чреватый*.

Следует заметить, что положительная оценка в контекстах подкорпуса первой половины XX в. слова *чреватый* весьма редка и неустойчива. Заметно, что оценочная энантиосемия разрушается, сменяясь отрицательной оценочностью. Как нам кажется, это происходит под действием заложенной в слове *чреватый* глубинной семантики ожидания, неопределенности результата:

(1) *И она грозит нам в последующем серьезной, чреватой последствиями, обратной переоценкой ценностей, которая может превратиться после*

исторического октябрьского выстрела в большую, больше чем нужно, историческую отдачу. (В. Плетнев. Возможна ли пролетарская культура? 1924).

(2) *Близкое будущее **чреват** оригинальными явлениями. С твердостью духа будем их ожидать!* (П. К. Козлов. Географический дневник Тибетской экспедиции 1923 – 1926 гг. №1, 1923 – 1924).

(3) *Так как у Кочетковых вид был абсолютно убежденный, что эта встреча мне принесет большую пользу, то эта возможность мне теперь предстает как чреватая, быть может, неплохими последствиями.* (Г. С. Эфрон. Дневники. Т. 1., 1940).

Более отчетливо положительная семантика видна в следующем контексте, ориентированном на ценностную систему верующего:

*Однако кульминацией Воплотившейся Жизни стал Крест, смерть Воплотившегося Господа. Жизнь полностью открыла себя в смерти. Вот парадокс, тайна христианской веры: жизнь в смерти и через смерть, жизнь из могилы, **Тайна могилы, чреватой жизнью.*** (протоиерей Георгий Флоровский. Воскресение жизни, 1927).

Развитие семантики и закрепление оценочного компонента этой лексической единицы существенно определяется грамматикой. Русская грамматика 1980 г. рассматривает слово *чреватый* в кругу прилагательных, демонстрирующих сильные синтаксические связи: «Специфической чертой управления таких прилагательных является то, что отношения, возникающие при этой связи, почти всегда несут в себе значение информативного восполнения (восполняющее) или объектно-восполняющее: зависимая форма так или иначе информативно дополняет собою прилагательное» [РГ 1980: § 1863].

Поиск в НКРЯ показал широкую вариативность сочетаемости *чреватый* в современном русском языке: *чреватый + дефектами,*

проволочками, кризисом, потерями, подрывом национальной безопасности, гипердиагностикой, осложнениями, воспалением и т.д. Однако более важно, что выборка показывает примеры употребления прилагательного *чреватый* в краткой форме без дополнения:

Я бы к врачу сходила, хотя совсем не знаю, чем это чревато (и чревато ли вообще). (Наши дети: Подростки, 2004).

Если в приведенных выше примерах с дополнениями, выраженными существительными, можно было говорить о том, что оценочный знак задает существительное, то этот пример показывает, что слово *чреватый*, во-первых, обладает собственным оценочным компонентом, во-вторых, преодолело оценочную энантиосемию. В первой конструкции – чем это чревато – дополнение есть, но выражено оно относительным местоимением, которое не столько восполняет информативность прилагательного, сколько служит средством связи частей сложного предложения. Вторая конструкция, оформленная как вставная, может быть, интерпретирована как неполная, но в таком случае, спорным становится вопрос о фразеологически связанном значении слова *чреватый*.

Функционирование слова *чреватый* без дополнения сопровождается активным формо- и словообразованием, указывающим на актуализацию значения качественного прилагательного:

(1) *Кого опасней и **чреватей** оставлять дома одного без присмотра: кота, ребенка или мужа?* (Пример из сетевого общения).

(2) *Ездить с забитым катализатором, гораздо **чреватей**.* (Пример из сетевого общения).

Во втором примере мы также наблюдаем сочетание прилагательного *чреватый* с наречием степени *гораздо*.

Такая форма не является пока нормативной, и носители языка, ощущая это, могут подчеркивать языковую игру с помощью кавычек:

*Но я очень не хочу оказаться в любой из этих колясок вдалеке от цивилизации (читай официального диллера) в какой-нибудь особенно морозный день через 5-10 лет после покупки. **Потому как это чревато**. А чем высокотехнологичней эта коляска и чем дальше от упомянутого диллера – тем «**чреватей**». (Пример из сетевого общения).*

Словообразовательная активность проявляется в присоединении оценочных суффиксов *-еньк-, -оват-*:

(1) *мне теперь с тобой встречаться **чреватенько*** (Пример из сетевого общения);

(2) *что розы приехали без воска чем **чреватовато?*** (Пример из сетевого общения).

Во всех указанных примерах слову *чреватый* свойственна отрицательная оценочность.

Отрицательный компонент качественного значения прилагательного *чреватый* особенно заметен, если проследить, какие контекстуальные синонимические пары и ряды составляет описываемая лексическая единица:

(1) *Кого опасней и чреватей оставлять дома...*

(2) *Просто не раз слышала что чем старше идут, тем оно болезненней и чреватей. -Уже нервничать или погодить?;*

(3) *<...> но пиздеть на его детей? подленько, виктимненько и чреватенько. И ты будешь неправ при любом исходе – или тебе что-то сломают... (Примеры из сетевого общения).*

Следует также отметить активность в современном языке краткой формы среднего рода *чреватого*: из 1413 контекстов – общего числа вхождений слова *чреватый* в тексты НКРЯ, 522 вхождения составляет именно форма *чреватого*. 371 вхождение этой формы приходится на 1996 – 2014 гг. Как известно, краткие формы прилагательных обладают большей степенью предикативности, выступая в роли сказуемого. Вероятно, нарастающая предикативность является знаком вторичной лексикализации слова *чреватый*, характеризующейся в том числе устойчивой отрицательной оценочностью.

Нам представляется возможным говорить о новой стадии лексико-грамматического развития слова *чреватый*: фразеологическая связность в нем ослабевает, хотя именно подчиненное дополнение, как мы уже показали выше, стало причиной такой бурной оценочной динамики. Закрепление отрицательной семантики на глубинном уровне связано с ценностными представлениями носителей языка: так, ожидание, отдаленность и неопределенность результата оцениваются отрицательно, поскольку нередко оборачиваются негативными последствиями для субъекта.

В современной поэзии воспроизводятся разные этапы семантического развития, актуализируется оценочный потенциал слова *чреватый* и аксиологические мотивы:

*Но мир – но мы. Но светозарен Бес.
А тот, не-бесник – плутовство и плен!
Чреватость чрева и бездарность бездн
еще в наскальной памяти поэм.*

(В. Соснора «Четверостишия»)

*Священник – дородный, чреватый брюнет
с короткой бородкой,
в очках, паричке,*

импортный: из Канады.

Глаза неласковые, чуть навывкате.

(В. Строчков «Памяти Андрея Сергеева»)

Прилагательные *чреватый* и *дородный* асимметричны по сочетаемости с названиями лиц мужского и женского пола. Исходное номинативное значение слова *чреватый* применимо лишь к женщине, хотя в этом примере можно увидеть и переносное значение ‘с большим животом’. Слово *дородный* употребляется и по отношению к мужчинам, и по отношению к женщинам. В результате столкновения этих гендерных оттенков герой стихотворения В. Строчкова – священник – как будто превращается в существо бесполое: грамматический мужской род сочетается с эпитетом, женским по семантике. И в этом сочетании, при номинативном, никак не обремененном фразеологической связанностью, значении слова *чреватый* возникает негативная оценка персонажа.

Как будто толпы муравьев

Бегут за ветошкой косматой –

ТысячENOЖКАМИ народ

Ползет за тучЕЮ чреватой.

(Е. Шварц «Голоса в пустыне»)

У Елены Шварц *чреватая туча* – метафора Бога, за которым устремляется народ. Этот образ синкретичен: в нем соединились значения ‘вместилище’ и ‘некто способный произвести что-либо’, кроме того ощущается влияние мифов о боге-громовержце.

К окну вплотную подведен чердак.

Он хладен, как потухшая геенна.

В нем кошки – то ли в сумрачных чадрах,

то ль впрямь черны, как нагота Гарлема.

*Чердак не прост и волшебством чреват:
в пустом окне вчера свеча горела.*

(Б. Ахмадулина «Недуг»)

Стихотворение Б. Ахмадулиной «Недуг» посвящено Антонию Погорельскому, автору повестей «Лафертовская маковница» и «Черная курица, или Подземные жители»: *«Какое-то время назад мне довелось быть в больнице в Питере, на Васильевском острове ... Прямо под окном палаты был дом, который казался мне таинственным. В нем то зажигался, то гас огонь свечи и мерцали глаза кошек. Я выходила в больничный двор. Возвращаясь в палату, читала Погорельского, а вблизи стоящий дом с чердаком опять был освещен мерцанием свечи и глазами кошек»* [Ахмадулина].

Вопреки утвердившейся отрицательной оценочности, слово *чреватый* взаимодействует с положительной оценкой слова *волшебство* и приобретает положительную оценку. Хотя нужно отметить, что это положительное значение ассоциативно связано с преодолением мистических опасностей и страхов. Схожую аксиологическую двойственность, связь положительного с опасным находим в стихах М. Крепса:

*Повороты пространства
надеждою новой **чреваты***

(М. Крепс. «Вирази»)

и В. Павловой:

*Аристократия растительного царства -
ресницы. Их паденье величаво,
их похороны церемониальны,
чреваты исполнением желаний
и вызывают теплоту в ладонях
и зависть у подмышечного племса.*

(В. Павлова «Аристократия растительного царства»)

У И. Бродского слово *чреватый* служит знаком аксиологических координат поэта, предсказывает из простого и рационально правильного рождение нового, противоречащего привычному. Образ *кругов, чреватых овалами*, отражает противостояние простого в построение *круга*, выражающего всеобщую, правоту, и *овала*. Причем овал – форма, опасная смещением привычных границ – скрыт в круге.

*Прости, о, Господи, мою витиеватость,
неведение всеобщей правоты
среди кругов, овалами чреватых,
и столь рациональной простоты.*

(И. Бродский «Слава»)

Возможно, этот образ – аллюзия на известные строки П. Когана: *Я с детства не любил овал, / Я с детства угол рисовал.*

На скрытую опасность простоты указывает форма *чревата* в стихах Т. Кибирова, в то время как сложность наделяется беззащитностью и чистотой:

*На самом деле простота чревата,
а сложность беззащитна и чиста,
и на закате дым химкомбината
подскажет нам, что значит Красота.*

(Т. Кибиров «Вечернее размышление»)

Таким образом, в поэзии семантическая динамика слова, основанная на изменчивом доминировании дифференциальных признаков, приводит к изменению его сочетаемости, порождает грамматические преобразования и обнаруживает энантиосемические потенции, который в современном русском языке оказались нейтрализованы.

Историко-лингвистический анализ слова *чреватый* показывает, что на развитие оценочного компонента слова существенное влияние наравне с семантическими изменениями может оказывать грамматический аспект. Семантический сдвиг и закрепление фразеологически связанного значения, требующего определенных синтагматических связей, постепенное развитие у слова *чреватый* значения качественного прилагательного расширило его грамматическую парадигматику и обусловило оценочную динамику. Одновременно происходило стилистическое движение слова *чреватый*, которое, будучи церковнославянским по происхождению, тяготело к книжному стилю. Вовлечение его в публицистику и автоматизированное употребление в качестве клише постепенно привели к расширению формообразовательных и словообразовательных возможностей слова (*чреватенько, чреватато, чреватей*).

3.4. Прелесть

Мы неоднократно подчеркивали, что в зависимости от культурно-исторического опыта ценность того или иного явления может различаться для представителей разных социальных групп, и эта разница находит отражение в оценочных значениях слова. Общеизвестно, например, приобретение безоценочными словами русского литературного языка оценочных значений в жаргонах и просторечии, что отмечено в работах [Вахитов 2001; Химик 2000].

В этом разделе мы постараемся показать специфику оценочной динамики церковнославянизмов на общезыковом фоне и в рамках отдельной социальной разновидности языка – церковного социолекта.

Под церковным социолектом мы понимаем групповые речевые особенности, свойственные прихожанам русской православной церкви и тем, кто считает себя верующими¹. Специфику языковой личности носителя

¹ В современной церковной публицистике, наравне с традиционной номинацией *прихожане* – ‘регулярно посещающих храм’, активно функционирует безоценочное

церковного социолекта составляет знакомство с каноническими религиозными текстами, в том числе на церковнославянском языке, а также со святоотеческой литературой и тем кругом чтения, который одобрен церковью (такие книги часто издаются епархиальными типографиями и продаются непосредственно на территории храма).

Мы сознательно не включаем в группу носителей социолекта тех, кто получил специальное богословское образование, в том числе изучал церковнославянский язык, по роду деятельности систематически изучает канонические тексты, занимается подготовкой проповедей, катехизацией: священнослужители, дьяконы и т.д. С нашей точки зрения, эту группу характеризует профессиональное отношение к языку Писания и церковной атрибутике, которое проявляется и в выборе речевых средств в обыденной жизни.

В речи носителей церковного социолекта частотными являются стандартные конструкции (*Спаси господи! Господи помилуй!*) и библейские цитаты. Л. П. Крысин отмечает: «Социальная обусловленность языка <...> выражается в том, что определенные языковые средства приобретают функции социальных символов – маркеров принадлежности говорящего к той или иной социальной среде» [Крысин 2000: 26]. В речи представителей исследуемой социальной группы функцию социальных символов приобретают церковнославянизмы с «деархаизированной семантикой» [Шмелькова 2010: 34], которые также восстанавливают утраченный оценочный компонент слова и аксиологические характеристики понятия. Примерами обозначенного явления могут служить слова *прелесть*, *искушать*, *соблазнять*, *смущаться*, *убожество*, *страхование*, *ревность*,

захожане (те, кто посещает церковь по праздникам, изредка ходит к исповеди и к причастию, но с церковными канонами знаком слабо). Существует и более редкое, ироническое *мимохожане* (те, кто оказывается в церкви случайно и кто с церковными правилами не знаком вовсе). Ср.: *На Богоявление возле храмов вырастают большие очереди людей с банками, канистрами и бидонами – прихожане, захожане и даже мимохожане в этот день приходят с различной тарой, чтобы унести домой освященную воду* [Живова].

доброе совестность, смириться, мытарь, распинаться, вертеп, возмездие, выспренне, превратный, житие, благость, благолепие, поветрие, страсть.

Нужно отметить, что особый стилистический статус церковнославянизмов, их место в лексической системе русского языка, обусловленные исторически, затрудняют описание их семантической и оценочной динамики.

Анализ и описание отдельных примеров динамики оценочного значения могут сталкиваться с лексикологической проблемой тождества слова. Исторически значительное число церковнославянизмов имеет русские омонимы (в терминологии О. А. Седаковой – паронимы), которые не только отличаются по значению, но и в ряде случаев оценочно противоположны. Современная лексикографическая практика объединяет генетически родственные значения в одной словарной статье, воплощая, таким образом, идею Н. И. Толстого о том, что «синхронная полисемия есть не что иное, <...> как развернутая в пространстве диахрония» [Толстой 1997: 15].

Анна А. Зализняк в связи с практической задачей формирования Каталога семантических переходов указывает на то, что пары слов из близкородственных языков могут считаться примерами семантической деривации, а этимологические дублеты следует считать одним словом для решения задачи об инвентаризации регулярных семантических сдвигов [Зализняк Анна А. 2001: 18 – 21].

Вопрос о деархаизированном употреблении генетических церковнославянизмов в церковном социолекте неоднозначен. Носители церковного социолекта так или иначе знакомы с каноническими текстами, слушают проповеди, где цитация – один из значимых риторических приемов. А значит, перенесение старых значений и оценочного компонента, устаревшего для кодифицированного литературного языка, может быть автоматическим, неосмысленным, но подтверждающим принадлежность говорящего к церкви. В таком случае, мы имеем дело с архаизмами-церковнославянизмами, лишенными своей обычной стилистической функции

– придать тексту торжественность, возвышенность, вместо этого развивается идентифицирующая функция с намерением отделить своих от чужих – функция, свойственная жаргонам.

Остановимся на оценочной динамике слова *прелесть*, историко-лингвистическое описание которого позволяет наблюдать в действии социолингвистическую обусловленность оценки.

Отдельные замечания о семантике однокоренных глаголов *прельстить*, *прельщать* были сделаны в работе [Булыгина, Шмелев 1997: 184]. Общие наблюдения, касающиеся особенностей функционирования слова *прелесть* как этимологически родственного словам *льстить* и *лесть*, присутствуют в статье Анны А. Зализняк и А. Д. Шмелева «Льстить: семантическая эволюция и актуальная полисемия» [Зализняк Анна А., Шмелев 2008: 660 – 667]. Слово *прелесть* упоминается также В. М. Живовым в связи с общей тенденцией секуляризации церковнославянизмов в XVIII в. [Живов 2009: 499]. В статье, посвященной анализу стихотворения А. С. Пушкина «Мадонна», Н. В. Перцов полемизирует с А. Н. Архангельским о стилистической правильности и уместности строки *чистойшей прелести чистойший образец* [Перцов 2000: 399 – 405]. А. Н. Архангельский рассматривал особенности употребления слов *прелесть* и *прельстить* в первой половине 19 в. в контексте проблемы становления «церковно-обиходного языка» [Архангельский 1994]. Хотя указанные работы и затрагивают отдельные аспекты функционирования слова *прелесть*, они не дают целостной и последовательной картины семантической и оценочной динамики лексической единицы.

В современном русском литературном языке оценочный знак слова *прелесть* и его производных исключительно положительный: МАС выделяет 5 позитивных значений слова *прелесть*: ‘1. Очарование, обаяние, внушаемое кем-, чем-л. красивым, приятным, привлекательным. 2. чего. Привлекательность, привлекательная сторона чего-л. 3. мн. ч. (прелести, -ей). Устар. Женская красота, красивое женское тело. 4. (обычно со словом

«моя»). *Разг.* Ласковое обращение. 5. О том, кто (или что) вызывает восхищение красотой, изяществом и т. п.' [МАС Т. 3: 378].

Кроме того в целом положительной оценочностью наделен глагол *прельстить*, хотя второе его значение содержит в себе имплицитную информацию о вероятности негативного исхода действия, которому сопутствует процесс *прельщения*: '1. Подчинить своему обаянию, пленить, очаровать. 2. Соблазнить, привлечь'. [МАС Т. 3: 378].

В материалах к словарю «Церковнославяно-русские паронимы» О.А. Седакова определяет *прелесть* как '1. Обман, обольщение. 2. Блуждание, уклонение' [Седакова 2005: 285]. Иную дефиницию находим в Словаре Академии Российской: *Прелесть* – '1. Коварство, обман, соблазн. 2. Красота, пригожество; пленительный вид, взор' [САР Т. 2: ст. 1181]. *Прельщать* – 'привлекая кого к чему или к себе; возбуждая страсть, любовь к чему или к себе обещаниями, красотой или какими либо предлагаемыми выгодами; соблазняю' [САР Т. 2: ст. 1180].

Таким образом, можно сказать, что по данным исторических словарей первое и второе значения и у слова *прелесть*, и у *прельстить* находятся в отношениях оценочной энантиосемии.

Б. Ганеев сравнивает значения слова с секторами веера: «при энантиосемии крайне противоположные значения слова находятся на крайних позициях в веере, отстоя друг от друга на приличное расстояние, нередко разделенные многими промежуточными значениями. Это позволяет существовать самой энантиосемии и сосуществовать противоположным значениям» [Ганеев 2004: 152]. Мы считаем, что «сектора веера», в том числе максимально удаленные друг от друга, продолжают взаимодействовать, сохраняют связь, которая кажется практически неуловимой вне особых коммуникативных условий и специальных дискурсов. Естественно также, что энантиосемия затрагивает не только лексическое значение слова, но и ценностную, и оценочную составляющую, формируя аксиологическую энантиосемию.

Обращение к Словарю русского языка XI – XVII вв. позволяет увидеть «сектора веера», о которых пишет Б. Ганеев, и раскрывает предпосылки расхождения значений: ‘1. Соблазн, греховное искушение, прельщение, обман. 2. Тот или то, что может прельстить, соблазнить. 3. Заблуждение, ошибка, грех. 4. Ложь, выдаваемая за истину и отвращающая от истинной веры. 5. Преступление, вред, грех. 6. Козни, обман, коварство. 7. Обманчивая привлекательность, очарование, обольстительность’ [СРЯ XI – XVII Вып. 18: 259].

Очевидно, что все описанные значения связаны идеей обманчивости, ложности впечатления от объекта, обозначаемого словом *прелесть*. Однако дальнейшее развитие оценочности этого слова, очевидно, обусловлено седьмым, наиболее образным значением.

Национальный корпус русского языка помогает проследить, как постепенно оформлялась и реализовывалась в различных текстах энантиосемия. Заданный по времени создания текста подкорпус 1700 – 1750 гг. показал 5 вхождений слова *прелесть*.

В четырех из этих контекстов оценочное значение слова *прелесть* однозначно отрицательное и в одном контексте – скорее отрицательное, чем положительное:

Тотъ наслутче сего избудеть, кто у Улисса научится, какъ отъ прелестей Цициныхъ убѣгать; однакожь какъ можно смотри, чтобъ изъ такихъ случаевъ съ честью, и учтивствомъ вытти. (С. С. Волчков. Граціанъ. Придворной человѣкъ, 1742).

В этом примере значения ‘соблазн’ и ‘женская красота’ слились, и провести между ними границу достаточно сложно.

Выборка 1751 – 1760 гг. дает слово *прелесть* исключительно в негативном смысле. Очевидно, эти примеры иллюстрируют ценности религиозного мировоззрения, требующего отказа от соблазнов:

(1) *Того ради не науки, поистине, не науки причиною развращенных нравов, но, почитай, общее презрение к учениям и потом злое употребление рассуждения, необузданная страсть, слабость попущенная природы, прелесть мирских сластей и роскошей и, наконец, наведенная невоздержанием и суемудрием слепота умной силе и окамененное нечувствие истинного блага в прихотьствующем самоволии.* (В. К. Тредиаковский. Слово о мудрости, благоразумии и добродетели, 1752).

(2) *Так познал ли ты доселе, человек, то грешниково наружное щастие, то притворное блаженство, оную погибельную прелесть, в которой увязают грешники?* (архиепископ Платон (Левшин). Нравоучение седьмое, 1757).

Более интересное распределение получаем в выборке 1761 – 1770 гг.: на 84 вхождения в 15 документах мы обнаружили 19 контекстов, в которых слово *прелесть* имеет значение ‘соблазн’ и обладает отрицательным оценочным компонентом:

(1) *Опасался он только того, чтоб правление не ослепилось сею прелестью и не дозволило оное дворянству, что почитал он за особливое зло.* (Д. И. Фонвизин. Торгующее дворянство, 1766);

(2) *По качеству духа имеет ли он столько крепости духа, чтоб мог всегда противиться повадкам и прелестям пороков и, видя почти всех людей погруженных в несправедливости, не убоялся б постоянно блюсти дружбу к справедливости.* (Я. П. Козельский. Философические предложения, 1768);

(3) *<...> доколе будете к прелестям толков своих привязаны?* (архиепископ Платон (Левшин). Увещание к раскольникам, 1766).

Тематика текстов, где слово *прелесть* употребляется в отрицательном смысле, – философская, религиозная и нравоучительная. Их авторы – известные мыслители, религиозные философы и церковные деятели XVIII в.:

Я. Козельский, Г. Сковорода, архиепископ Платон (Левшин), Д. Аничков. Неожиданно в этот ряд вошел Д. И. Фонвизин, у которого слово *прелесть*, впрочем, фиксируется с обоими оценочными компонентами в разных, хронологически отдаленных текстах: «Торгующее дворянство» 1766 г. – отрицательная оценочность, «Иосиф», «Сидней и Силли, или благодеяние и благодарность» (1769 г.) – положительная оценка.

Три употребления с отрицательной оценкой встретились в тексте путевых заметок Ф. Соймонов «Описание Каспийского моря» (1763 г.), приведем один из них:

И такъ воры и мятежники людей Божіихъ возмутили, и сатанинскую прелесть прельстили, что на Боярь, о горе и увы!

Ф. Соймонов – купец, автор путевых заметок – вводит в светский по содержанию текст слово *прелесть* в уже маркированном для этого момента значении и поэтому возникает необходимость в эпитете *сатанинский*, который выступает в качестве формального ограничителя [Колесов 1985: 80 – 87], а точнее, разграничителя, положительного и отрицательного значения.

В остальных 69 контекстах оценка слова *прелесть* положительная, причем спектр значений соответствует описанному в МАС. Положительный оценочный знак фиксируется примерно с 1764 – 1765 года, тогда как отрицательная оценка сохраняется на протяжении всего десятилетия, но после 1765 г. исключительно в специальных контекстах. Таким образом, мы можем уточнить предположение авторов статьи «Льстить: семантическая эволюция и актуальная полисемия», которые писали, что «слово *прелесть*, за исключением религиозных контекстов, утратило – по-видимому уже в пушкинскую эпоху¹ – свою внутреннюю форму и, соответственно, отрицательные коннотации» [Зализняк Анна А., Шмелев 2008: 666]. Очевидно, что уже с 1764 – 1765 года отрицательное и положительное

¹ Подчеркнуто нами – В.М.

значения слова *прелесть* оказываются в дополнительной дистрибуции: *прелесть* в негативном значении ‘*соблазн*’ свойственно текстам нравоучительной и религиозной тематики, написанным в высоком стиле.

В. М. Живов отмечал, что одним из значимых культурно-языковых процессов в лексике XVIII в. стала секуляризация церковнославянских элементов. Этот процесс был наиболее активен при переводе, когда церковнославянизмы употреблялись в значении соответствующих слов оригинала. Следствием этого процесса стало не только изменение семантики, но и приобретение словами религиозной сферы оценочных значений, свойственных сфере светского. По мнению В. М. Живова, «ряд подобных перемен <...> берет свое начало в разговорной речи дворянской элиты. Именно здесь, надо думать, *прелесть* и *прелестный* стали употреблять в значении *charme* и *charmant*» [Живов 1996: 499].

Подкорпус 1771 – 1780 гг. подтверждает выявленную закономерность: в 19 документах найдено 31 вхождение, из которых 5 контекстов указывают на отрицательную оценочность. Все они принадлежат одному автору – архиепископу Платону (Левшину), и имеют нравоучительный характер.

Выборка с двумя заданными условиями: по тематике текстов – философия / религия, по времени создания – 1800 – 1900 гг. не продемонстрировала кардинальных перемен в распределении оценочного компонента слова *прелесть*. В контекстах, взятых из произведений Иоанна Кронштадтского, епископа Игнатия (Брянчанинова) оно по-прежнему имеет значение ‘*соблазн*’ и отрицательную оценку. Отметим лишь, что в некоторых случаях отрицательная оценка становится более расплывчатой, так как слово *прелесть* попадает в метафорические сочетания, свойственные литературному языку:

Какой в них был дух, какой небесный полет, какое презрение ко всем прелестям мира – к тому, что так высоко ценит мир, чем прельщается, чем бредит, чем

болит и из-за чего беснуется! (Иоанн Кронштадтский. Живое слово мудрости духовной, 1860 – 1880).

Следствием энантиосемии становятся следующие парадоксальные контексты:

*<...> но книга сия называется **Евангелием**, – и такова ее вечно **новая прелесть**, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие.*

(А. С. Пушкин, Об обязанностях человека, сочинение Сильвио Пеллико)

*Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.*

(М. Ю. Лермонтов, «Молитва»)

Эти примеры отмечались исследователями-литературоведами и осмысливались в контексте отношения поэтов к религии и церкви (например, в работе В. А. Воропаева [Воропаев 2009]). А. Н. Архангельский считает, что таким образом проявил себя «процесс расподобления светской культуры и церковного бытия России XVIII – XIX веков» [Архангельский 1994]. Очевидно, что церковнославянское значение уже к середине XIX века оказалось на периферии, в связи с чем и стали возможными оксюморонные сочетания *святая прелесть, прелесть Евангелия*.

Таким образом, можно сказать, что в русском литературном языке слово *прелесть* и его однокоренные прошли путь от отрицательного значения к ситуации оценочной энантиосемии. Оценка определялась контекстом, что в дальнейшем привело к установлению принципа дополнительной дистрибуции: употребление слова с положительной оценкой

преобладает, но в текстах определенной тематики (религиозная, нравоучительная) возможна отрицательная оценка.

После 1917 г. в связи с изменениями в политической и социальной жизни России религиозная проза не была доступна читателю, поэтому наметившаяся закономерность употребления слова *прелесть* с отрицательным оценочным компонентом ушла на периферию, но не была утрачена. В конце XX в. наметилась тенденция «возвращения старого, ранее отвергнутого и запрещенного, которое воспринималось в этот период как нечто новое» [Шмелькова 2010: 4].

Возвращаясь к обозначенному вопросу о функционировании церковнославянизмов в церковном социолекте, рассмотрим примеры употребления слова *прелесть* в языке прихожан православной церкви:

(1) *Человек летает и ему кажется, что у него крылья... Мне почему то казалось, что это состояние называется **прелестью**, очень ярко проявляющееся в период неофитства. И вроде как в нём надо каяться на исповеди... нет?* [Пример из сетевого общения]

(2) *<...>нет, конечно! Это просто Господь на руках носит... А вот если Вы считаете, что крылья – это результат Ваших трудов или святости – тогда, несомненно, **прелесть*** [Пример из сетевого общения].

Оценочный компонент слова *прелесть* в этих высказываниях соответствует церковнославянизму, тогда как семантика этого слова претерпела некоторые изменения. В обоих примерах значение слова *прелесть*, несомненно, обусловлено значением церковнославянского слова, но приобретает ярко выраженный оттенок обозначения *состояния*, на что и указывает одна из собеседниц (*это состояние называется прелестью*). Во втором высказывании нужно обратить внимание и на то, что слово *прелесть* стоит в позиции оценочного предиката.

Значение состояния отражено и в таком примере:

*Как-то раз Паисий Святогорец посетил Афон, когда ещё был жив старец Иосиф Исихаст. Он много слышал о нем и решил познакомиться со старцем Иосифом, но отцы и братья отговорили его – сказали, что он **пребывает в прелести**. Старец Паисий Святогорец очень сокрушался потом, что не воспользовался возможностью лично познакомиться с этим великим подвижником, доверившись сплетням [Живова 2016].*

В следующем примере отрицательная оценочность усиливается в связи с употреблением слова в негативной фразеологизированной конструкции *впасть в...* (*ересь, детство, маразм...*):

*А чего это так незаслуженно обижают период неофитства? Человек тогда летает на крыльях в подавляющем большинстве случаев не оттого, что **впал в прелесть**, а оттого, а оттого, что он очень круто и очень искренне изменил свою жизнь, и ощутил, что такое благодать... [Матушки. ру. Платок и все о нем 2010].*

Выражение *впасть в прелесть* встречается в НКРЯ в текстах духовной тематики и обозначает ‘поддаться искушению, соблазну’, причем соблазн состоит в том, что человек, недавно пришедший к вере, убежден в своей праведности, глубоком понимании религии.

Одновременно на том же православном форуме мы зафиксировали примеры употребления слова *прелесть* в светском значении, с оценочным компонентом, соответствующим современной литературной норме, в позиции предиката:

*Такая **прелесть** травяной, фруктовый, зеленый чай, ммм... [Прихожанка. ру. Народная медицина домашняя медицина, травы и другое 2011]*

В поэзии отрицательная и положительная оценка слова *прелесть* сосуществуют и наряду с мерцанием устаревших и синхронных значений

слова *прелесть* делает текст более многогранным, позволяет трактовать его неоднозначно.

Последняя прелесть,

Последняя тяжесть:

Ребенок, у ног моих

Бьющий в ладоши.

*Но с этой **последнею***

Прелестью – справлюсь,

И эту последнюю тяжесть я –

Сброшу.

.....

Всею женскою лестью

Явля вдохновенной,

Как будто не отрок

У ног, а любовник –

О шествиях –

Вдоль изумленной Вселенной

Под ливнем лавровым,

Под ливнем дубовым.

Последняя прелесть,

Последняя тяжесть-

Ребенок, за плащ ухватившийся... – В муке

Рожденный! – Когда-нибудь людям расскажешь,

Что не было равной –

В искусстве Разлуки!

(М. Цветаева «Последняя прелесть...»)

В стихотворении М. Цветаевой «Последняя прелесть...» энантиосемия слова *прелесть* связывает два образа – *тяжесть* и *ребенок*. Ребенок, с одной стороны, как то привлекательное, что удерживает героиню от сиюминутного порыва обратиться в движение (*вдоль изумленной Вселенной*), помогает преодолеть *прелесть* – соблазн и тяжесть (и здесь в силу вступает многообразная фразеологическая связность слова *тяжесть*: на сердце, в теле; тяжесть как сила земного притяжения). В сложное переплетение смыслов включается и однокоренное слово *лесть*, также обладающее энантиосемическим потенциалом: ‘1. Восхваление, слова, внушенные желанием угодить кому-либо; 2. Соблазнительный обман’ [СЯ Пушкина]. В стихотворении Цветаевой эти значения вновь взаимодействуют: прилагательное *женская* может как называть субъект *лести*, так и быть эпитетом – *женская*, то есть *коварная, искушающая, вводящая в соблазн*. Отрицательная оценочность всё же перевешивает благодаря деепричастию *язвя*, то есть нанося раны, и в этом есть некоторый оксюморон, так как *лесть* предполагает слова приятные.

Имплицитно в тексте М. Цветаевой присутствует и еще одно выражение с общим для слов *лесть* и *прелесть* корнем: *прелестная звезда* – метеор или планета¹. Этот образ, как нам кажется, созвучен стихам, потому что весь текст М. Цветаевой исполнен мечтой о движении.

Столкновение положительного и отрицательного значений в тексте Бахыта Кенжеева переводит пейзажную зарисовку в инфернальное пространство: воскресная прелесть – это уже не очарование воскресенья, а соблазнительное ожидание воскрешения, которому препятствует *князь рогатый*:

¹ А. С. Шишков писал в «Рассуждении о старом и новом слоге»: «*Прелестными звездами* называются те воздушные огни, которые, доколе сияние их продолжается, кажутся нам быть ниспадающими звездами, кои потом исчезают...» [Шишков 1870].

*Шуршит песок, трепещет ива,
ветшает брошенное слово
на кромке шаткого залива,
замерзшего, полуживого,
где ветер, полон солью пресной,
пронзает **прелестью воскресной**,
где тело бедствует немое,
и не мое, и не чужое –
лишь в космосе многооконном
бессмертный смерд и **князь рогатый**
торгуют грозным, незаконным
восторгом жизни небогатой...*

(Б. Кенжеев. «Когда пронзительный и пестрый... »)

В стихах Полины Барсковой однородные дополнения актуализируют разные значения слова *прелесть*: *прелесть неги* – соблазнительность беззаботности и полного довольства; *прелесть стыда* – привлекательность стыдливости:

*Но боюсь: среди сражений
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движений,
Прелесть неги и стыда.*

(П. Барскова. «Война»)

Говоря о парадоксах исторической судьбы слова *прелесть*, нельзя не упомянуть творческую удачу переводчика Н. Рахмановой, которая любимое слово героя романа Д. Р. Толкиена «Хоббит: Путешествие туда и обратно» Голлума «*My precious!*» (буквально: *Моя драгоценность / моё дорогое*) перевела как «моя прелесть». По сюжету Голлум был когда-то мирным и незаметным человеком, но затем нашел кольцо Всевластья, и оно постепенно поглотило его сущность, превратив в чудовище. Голлум живет в болотах, питается падалью и неотрывно смотрит на кольцо Всевластья, ласково

называя его «моя прелесть». Таким образом, в переводе романа Р. Толкина выражение *моя прелесть* имеет отрицательную оценку. Эта фраза стала основой интернет-мема и часто встречается в демотиваторах. Она обозначает нечто настолько желанное, что заставляет забыть обо всем на свете, или нечто, к чему субъект шел долгое время, преодолевая сложности, некую исключительную ценность, которая представляется недоступной:



Рис. 2. Демотиватор «iPhone – моя прелесть».

iPhone (айфон, встречается также написание Айфон) – смартфон корпорации Apple, очень популярный среди молодежи, следящей за модой. Айфоны считаются необходимым атрибутом успешности и благосостояния. Появление новой модели этого смартфона в фирменных магазинах нередко сопровождалось потасовками и драками: в погоне за модной вещью люди вели себя грубо, утрачивали «человеческое лицо», подобно Голлуму.

Таким образом, в этом демотиваторе практически актуализируется значение ‘соблазн’, которое изначально заложено в слово *прелесть* и которое, как мы показали, присутствует и в современном церковном социолекте. Однако прагматика соблазнительной ценности в демотиваторе иная: он лишен важной для религиозного мировоззрения этической оценки ‘праведное / греховное’ и тональности осуждения. Демотиватор насыщен

иронией, которая заставляет рассматривать ценность *прелести* с других позиций – ‘истинная / мнимая’.

Примеры из поэзии и прагматика интернет-мема и демотиваторов показывают, что семантика и оценочный компонент слова развиваются циклично: приобретенный словом «багаж» не утрачивается, новые значения не перечеркивают предшествующие, а накапливаются, чтобы реализоваться в более подходящих коммуникативных условиях.

В специальных коммуникативных условиях, определенных личным мировоззрением говорящего, кругом собеседников-единомышленников, религиозной тематикой, слово *прелесть* возрождает, хоть и в несколько преобразованном виде, специальную церковнославянскую семантику и оценочный компонент. В подобных контекстах церковнославянизм – средство самоидентификации, способ показать принадлежность говорящего к социальной группе, что сближает его с социолектизмами.

3.5. Домогательство

В XVIII веке слово *домогательство* входило в более крупное, по сравнению с современным русским языком, словообразовательное гнездо. В Словаре русского языка XVIII в. *домогаться* определяется как ‘*добиваться чего-л., достигать желаемого || Прост. Стараться узнать что-л., попасть куда – л. и т. п.*’ [СРЯ XVIII Вып. 6: 207], также приводится глагол совершенного вида *домочься, домощися* (второй вариант с пометой *слав.*), а помимо слова *домогательство* указаны слова *домогательно* – ‘*настойчиво, усердно*’ [СРЯ XVIII Вып. 6: 207], и *домогальщик*, снабженное только примером употребления: *Совѣтование <иляхты> в кровавой бой премънилося, потому господа родовскии, и его домогальщики, и староста липинский ранены. Вед. I 238.* [СРЯ XVIII Вып. 6: 207].

В «Словаре Академии Российской» (1789 – 1794 гг.) *домогаюся* толкуется как ‘*всячески¹ стараюся получить что, или достигнуть до чего. Онъ домогается чина*’ [САР Т. 3: ст. 212], там же указывается слово *домогательство*, истолкованное как ‘*старание домогающагося*’ [САР Т. 3: ст. 212].

Обратим внимание на толкование слова *домогательство* в «Словаре русского языка XVIII века»: ‘*1. Старание, усилие добиться чего – л.; настойчивая просьба, требование. 2. Претензия.*’ [СРЯ XVIII Вып. 6: 207] – второе значение выводится из примера, отражающего толкование заимствованного слова в тексте: *Претензии [то есть домогательства] флагманов, и протчих офицеров, в окладах, в жалованьѣ, и в столѣ. УВМ 215* [СРЯ XVIII Вып. 6: 207].

Второй пример в этой словарной статье дан по аналогии, но он в сущности близок и к первому значению *требование*: *Ахалцъкской паша*

¹ Подчеркнуто нами.

подкрѣпляет Лезгин, кои нападают на войска царя Ираклия, а тут же и на наши. Сие завело нас в сильныя у Порты домогательства [СРЯ XVIII Вып. 6 : 207].

В XVIII в. слово *претензия*, равно как и *домогательство*, не имело собственной оценочности, приобретая оценочный знак ситуативно, исходя из контекста высказывания.

Применительно к языку XVIII в. дифференциальными признаками слов *домогаться* и *домогательство* является интенсивность и направленность, на что указывают наречия *всячески*, *настойчиво*, *усердно* в словарных статьях.

Толковые словари современного русского языка не указывают совершенный вид *домогаться* и наречие *домогательно*, зато МАС указывают синоним слова *домогательство* – *домогание*.

В Толковом словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова *домогаться* определяется как *‘усиленно добиваться, назойливо и упорно просить’* [ТСУ Т. 2: ст. 763], *домогательство* – *‘настойчивое стремление к получению чего – н., назойливое ходатайство, происки’*. [ТСУ Т. 2: ст. 763]

По определению МАС *‘домогаться – ‘упорно, настойчиво добиваться чего-либо’, домогательство – ‘настойчивое, назойливое стремление получить что-л., добиться чего-л.’* [МАС Т. 1: 427].

Дополнительные словарные пометы в дефинициях этих слов отсутствуют. Нужно отметить, что Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н.Ушакова и МАС почти дословно повторяют толкования слов *домогаться* и *домогательство*, обозначая негативный оценочный компонент через новую дифференциальный признак *назойливо*, а значит, потенциально – *вопреки чьей-либо воле*. Таким образом, оценочный компонент оказывается включенным в сигнификативную часть лексического значения.

Описанное словарями современного русского языка значение существительного *домогательство*, если опираться на материал Национального корпуса русского языка, актуально примерно до конца 80-х гг. XX века.

Если рассмотреть употребление слова *домогательство* в XX веке по десятилетним хронологическим срезам, то можно заметить усиление в нем компонента *‘вопреки чьей-либо воле – насильственно’*, которое и ведет к дальнейшей специализации значения.

В XVIII – первой половине XIX вв. слово *домогательство* было книжным. Его нейтральное употребление наиболее часто связано со служебными, материальными притязаниями, усилиями, прилагаемыми для получения чина, жалования, заключения брака, причем независимо от результативности действий, обозначенных словом *домогательство*:

<...>все мои домогательства, чтобы дойти до него, были тщетны; <...>где производим был чинами и получил Владимирский крест, как сказывают, старанием и домогательством служащего и поныне... секретаря Маслова, с которым в большой связи. (Е. Ф. Комаровский. Записки, 1830 – 1835).

Слово с уточняющим определением могло приобретать отрицательную оценочность:

Она прокляла свою неопытность, осудившую ее быть вечной целью самых оскорбительных восторгов, самых гнусных домогательств. (В. А. Соллогуб. Теменевская ярмарка, 1845).

О значительном влиянии на лексическую единицу уточняющих компонентов в высказывании написал, рассматривая синкретизм древнерусского слова, В. В. Колесов: «В чередовании контекстов с ключевым словом в его употреблении постепенно возникают и оформляются ценностные характеристики слова» [Колесов 1985: 81].

Во второй половине XIX века наблюдается и более абстрактное, но оценочно нейтральное употребление, которое найдет продолжение в философской прозе XX века:

В чем наши ежедневные заботы и печали, наши домогательства и поиски?

(Иоанн Кронштадтский. Живое слово мудрости духовной, 1905 – 1906).

Развитие публицистики вводит слово в общественно – политический дискурс, что подтверждается корпусными данными. В контекстах, извлеченных из заданного в Национальном корпусе русского языка подкорпуса 1900 – 1910 гг., отмечается частое употребление слова в составе публицистического клише. Клишированная конструкция представляет сочетание слова *домогательство* с существительным, которое называет силу, противодействующую государственной политике, часто дополняется инфинитивом:

(1) *домогательство аристократического государственного совета стать полновластным* (В. О. Ключевский. Русская история. Полный курс лекций. Лекции 66-75, 1904);

(2) *финансовые круги не верят в осуществление настойчивых домогательств японцев* (неизвестный. Телеграммы (1904.02.14) // «Новости дня», 1904);

(3) *давнишние домогательства Англии проводить в Афганистане железнодорожные и телеграфные линии* (неизвестный. Иностранные известия (1907.01.16) // «Русский голос», 1907).

Из 26 вхождений в этом подкорпусе лишь в двух случаях *домогательство* означает ‘назойливое ухаживание’:

(1) *Эльвира с возмущенной гордостью отвергает его домогательства.* (Д. Марголин. Спутник меломана. Собрание оперных либретто, 1908);

(2) *Префект <...> советует Антонио отпустить дочь свою в Париж... и тем спасти Линду от домогательств маркиза.* (Д. Марголин. Спутник меломана. Собрание оперных либретто, 1908).

Данные НКРЯ за 1911 – 1920 гг. демонстрируют тяготение слова к общественно – политической тематике, его книжный характер, сочетаемость с экспрессивными эпитетами и соседство со стилистически окрашенными контекстуальными синонимами:

(1) *Демократизм этот, так же, как и социализм – от антихриста, ибо первый исходит из домогательств власти (право на участие всех во власти), а второй – из домогательства равномерного распределения благ земных»* (С. Я. Эфрон. Записки добровольца, 1917 – 1925);

(2) *Стихийные стремления осуществить ожидания и домогательства отдельных групп и слоев населения; шовинистические домогательства иностранцев* (Н. Н. Суханов. Записки о революции / Книга 3, 1918 – 1921);

(3) *<...>отложив на день грядущий все частное, местное, личные, групповые счеты, дрязги, домогательства* (Ф. Д. Крюков. Новым строем // «Русские Ведомости», 1917);

(4) *Домогательства французских эмигрантов встречают сочувственный отклик в иностранных дворах.* (Н. В. Устрялов. Революция и война, 1917)

В целом можно сказать, что отрицательная оценочность формируется контекстуально, постепенно закрепляясь в слове. Д. О. Добровольский считает, что влияние контекста может усиливаться за счет сочетания с «имплицатурой дискурса» [Добровольский 2007: 208], которая не подлежит письменной фиксации.

На фоне развивающегося оценочного компонента как архаичное воспринимается употребление этого слова при личных и притяжательных местоимениях первого лица (*меня, моих*) в мемуарах А. Ф. Редигера:

(1) <...> *домогательство о восстановлении меня в должности и долгое оставление меня в Софии;*

(2) *На это заседание по моей просьбе приехал великий князь Николай Николаевич... хотя он почти не говорил, но одно его присутствие уже служило поддержкой моим домогательствам.* (А. Ф. Редигер. История моей жизни, 1918).

Другие контексты из этого произведения показывают, что оценочный знак у слова *домогательство* в языке автора мемуаров является амбивалентным, он задается контекстом:

<...> много было трудных разговоров со старшими чинами, претендовавшими на кресло в Военном совете или Комитете о раненых и обижавшимся моим решительным отказом в их домогательстве; они не хотели понять, что обе коллегии уже переполнены, а претендовали на то, что такие – то сверстники и ровесники их уже там заседают, а я их хочу обидеть! (А. Ф. Редигер. История моей жизни, 1918).

Интересно, что в этом же контексте встречается слово *претендовать* с отрицательной оценкой, тогда как в примерах XVIII в. его однокоренное *претензия* было таким же нейтральным, как *домогательство*.

В 1921 – 1930 гг. слово *домогательство* сохраняет книжный характер и употребляется в конструкциях, описывающих общественно – политические притязания лица:

(1) *Видя, что на Западе политическая свобода не осчастливила народа и оставила незатронутым целый ряд интересов, мы ухватились за последнее слово домогательств рабочего класса и стали исключительно на почву экономических отношений.* (В. Н. Фигнер. Запечатленный труд. Т. 1, 1921);

(2) *Вот к чему клонились домогательства новоявленных «сигнализаторов», эпигонов «интегрального коммунизма».* (Н. В. Устрялов. Под знаком революции, 1927);

(3) *Даже наиболее нетерпеливые и крайние, ставившие свою национальную свободу превыше всякой иной или чьей-либо другой, не шли в своих домогательствах дальше немедленного осуществления, в общем, весьма скромных реформ.* (М. В. Вишняк. Черный год. Публицистические очерки, 1922).

Третий пример замечательно иллюстрирует основу формирования отрицательного оценочного знака: *немедленное осуществление* сочетается со *скромными реформами*, то есть результат *домогательства* непропорционален приложенным усилиям.

Для понимания механизма развития оценочного значения важен и такой контекст из работы Н. В. Устрялова «Под знаком революции»:

Милюков сам хочет оформить и удовлетворить домогательства крестьянства, свергнув большевиков, – а мы, сменовеховцы, хотим, чтобы русский мужик получил все, что ему исторически причитается от наличной революционной власти. (Н. В. Устрялов. Под знаком революции, 1927).

Антитеза политической позиции П. Н. Милюкова как яркого противника большевизма и настроенных на сотрудничество с большевиками сменовеховцев, к которым принадлежит и сам Н. В. Устрялов, задается через противопоставление риторик. Книжной, ориентированной на бюрократические и публицистические штампы, абстрактной риторике П. Н. Милюкова противостоит нарочито экспрессивная и реалистичная риторика «Смены вех» (*мужик, причитается, наличная власть*). Влияние исторического фона, общественной полемики придает слову *домогательство* отрицательную оценочность, так как оно ассоциируется с закоренелостью и устаревшими взглядами.

На этом жанрово-стилистическом фоне интересен философский дискурс, в котором слово *домогательство* остается оценочным:

(1) *Не являются ли факты только предлогом или даже ширмой, заслоняющей собой совсем иные домогательства духа?* (Л. И. Шестов. Афины и Иерусалим, 1938);

(2) *Авторитет только пережиток все тех же домогательств разума, жадно стремящегося к всеобщим и необходимым суждениям.* (Л. И. Шестов. Афины и Иерусалим, 1938).

Очень пестро проявляет себя слово *домогательство* на временном отрезке с 1931 по 1940 гг., при нейтральности в философском дискурсе отрицательная оценочность выходит за рамки общественно – политической тематики. Оно перемещается в церковный язык:

<...> не пощадили они и церковного достояния, облегчив своим заявлением о моем устранении домогательство врагов Церкви на наши храмы как раз тогда, когда я веду с ними решительную борьбу. (митрополит Евлогий (Георгиевский), Т. Манухина (литературная запись). Путь моей жизни, 1935 – 1940).

В художественной литературе это слово употребляется для описания межличностных отношений:

(1) *Но беда той, которая отвергнет его домогательства* (А. К. Дживелегов. Франсуа Рабле, 1935);

(2) *Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство.* (В. Ф. Ходасевич. Андрей Белый, 1934);

(3) *На всякие домогательства и упреки он всегда имел в запасе убийственный довод.* (А. С. Макаренко. Педагогическая поэма. Часть 1, 1933).

Следует отметить, что негативная оценочность слова связана не только с интенсивностью действия, но и с неприятием субъекта этого действия. В это же время В. Набоков в романе «Дар» употребляет слова *домогаться* и *домогательство* стилизованно, возрождая речевую формулу, свойственную официальному стилю XIX в.:

Что же, по мнению полиции, делает муж? Он домогается отдать дело на суд общества офицеров... Потапов, начальник оногo, отклонил его домогательство, сказав, что, по его сведениям, улан готов извиниться. (В. В. Набоков. Дар, 1935 – 1937).

В 1941 – 1990 гг. слово *домогательство*, сохраняя отрицательную оценочность, постепенно утрачивает частотность, и, что наглядно демонстрируют данные НКРЯ. Резкий всплеск употребления слова *домогательство* в 1991 – 2000 гг. связан с актуализацией узкого, гендерно маркированного значения ‘назойливое ухаживание’, которое, как мы показывали, и ранее присутствовало у слова *домогательство* и отрицательная оценочность которого постепенно стала доминировать:

	1931 – 1940	1941 – 1950	1951 – 1960	1961 – 1970	1971 – 1980	1981 – 1990	1991 – 2000	2001 – 2014
Число вхождений	42	5	9	5	5	8	56	86

Табл. 2. Частота вхождений слова домогательство в контексты, извлеченные из НКРЯ.

По аналогии с западной юридической практикой возникают устойчивые выражения *статья за домогательства, сексуальные домогательства* (заметим, что уточняющее определение *сексуальные* необязателен).

Довольно редко слово *домогательство* употребляется безоценочно в исторической прозе – как средство стилизации:

Лишь смерть Мазепы при невыясненных обстоятельствах, по разным данным, 22 сентября или в октябре 1709 года в Бендерах избавила его от домогательств Петра, но не погасила гнева царя и не отменила совсем идею опозорить предателя. (Елена Уханова. Медаль для «нового Иуды» (2007) // «Родина», 2011).

С начала XXI века в русском языке употребляется слово *харассмент* (можно также встретить написание *харрасмент*) от английского *harassment* – ‘1. Беспокойство, агрессия, притеснение, оскорбление. 2. психол. харассмент (термин, используемый чаще всего для называния сексуальных домогательств на рабочем месте, но также и для других видов действий, производимых вопреки желанию объекта)’ [ERD].

В следующем примере значение нового слова вводится с помощью пояснения:

Две студентки обвинили его в харассменте (сексуальном домогательстве). (Вероника Сивкова. Уступили американке место? Вы хам или маньяк (2001) // «Аргументы и факты», 2001.03.07).

Выше мы уже отмечали пример, зафиксированный в «Словаре русского языка XVIII века», пояснения заимствованного слова *претензия* с помощью слова *домогательство*. Как видим, за два века содержание этой лексической

единицы значительно изменилось, приобрело выраженное оценочное значение.

Таким образом, семантическая динамика слова *домогательство* может быть описана как последовательное сужение значения, посредством развития семы *‘настойчиво – назойливо – вопреки желанию субъекта – насильственно’*. Развитие семантики стало толчком для проявления аксиологической динамики. Стилистическая принадлежность слова к книжной лексике ввела его в общественно – политическую риторику и публицистику, создалась ассоциативная связь слова *домогательство* с определенной исторической ситуацией и расстановкой политических сил, что и породило отрицательную оценочность.

Последующая специализация значения (*‘назойливое, неприятное ухаживание – сексуальное домогательство – харрасмент’*) развивается на базе уже сложившейся ко 2 половине XX века отрицательной оценочности слова.

3.6. Мзда

Разнообразные виды расчета – неотъемлемая часть бытовой и, как ни парадоксально, духовной жизни человека. Гипероним *плата* включает в себя как представление о получении ценностей, так и их передачу. Интересно, что аксиологическая природа этого слова двойственна и определяется контекстуально. Если *плата* ближе по контекстуальному значению к слову *оплата*, то, очевидно, что оно будет оценочно нейтральным или даже будет оценено положительно (в случае, если субъект плату или оплату получает). Если же оно сближается по значению со словами *расплата, отплатить, поплатиться*, то контекстуально приобретает отрицательную оценку. История и функционирование отдельных слов и понятий, составляющих семантическое поле *плата*, уже описано: *жалованье, заработная плата – зарплата, получка* [Колесов 2006: 54 – 66], *поплатиться* [Виноградов 1999: 511 – 512].

В это же семантическое поле входит слово *взятка*. В представлении носителей языка *взятка* и *взяточничество* оцениваются отрицательно, реализуя представления об антиценностях – корыстолюбии, бесчестности, несправедливости. У слова *взятка* в русском языке много синонимов: *подарок, благодарность, мзда, подкуп, подмазка, посул, бакшиши, барашек, хабар, халтура, куш, (нелегальный, побочный, безгрешный) доход, хаптус гевезен, хапен зи гевезен; слам, хабара, цыпа, барашек в бумажке, посулы, магарыч, пешкеш, нагар, цыпка, дача, леве, хапанцы* [СРС].

Очевидно, что слова *благодарность* и *подарок* – эвфемизмы *взятки*. Часть названных синонимов принадлежит сфере жаргонов: *хабар, халтура, слам, цыпа, хапанцы*. Отдельные слова литературного языка прежде относились к *взятке* лишь опосредованно и не имели отрицательного значения. К таким словам принадлежат в частности слова *мзда* и *магарыч*.

МАС определяет слово *мзда* как 1. *Устар. Плата, вознаграждение, воздаяние за что-л.* 2. *Устар. и ирон. Взятка.* [МАС Т. 2: 266]. Первое значение в современном языке известно мало, а второе, несмотря на помету *устар.*, на слуху благодаря крылатому выражению *Я мзду не беру, мне за державу обидно*. Интересно, что в современном чешском языке слово *mzda* означает *заработную плату, вознаграждение, жалование* [ЧРС 2010: 610].

В современном русском языке слово *мзда* утратило словообразовательную активность, тогда как ранее представляло вершину большого словообразовательного гнезда, в которое входили слова *мездник, безмездник, безмездно, возмездие, возмздить, возмездить, умздить, мздовоздавать, мздовоздаяние, мздовоздаятель, мздоимец, мздоимство, мздоимственный*. Большинство этих слов устарело, а связь *мзды* и *возмездия* для носителя русского языка в XXI в. перестала быть очевидной.

В русском языке XVIII в. слово *мзда* обозначало ‘Сл. 1. Награда, плата, воздаяние. 2. Корысть, нажива’. [САР Т. 4: ст. 126]. Из словарной дефиниции очевидно, что семантическая история слова определялась конкуренцией церковнославянского и русского значений. Церковнославянское значение

слова *мзда* обладало положительной оценкой, тогда как русское значение выражало оценку отрицательную. Таким образом, генетико-стилистическая природа слова *мзда* стала источником оценочной энантиосемии. «Словарь церковнославянского и русского языка» 1847 г. фиксирует у слова *мзда* значения '1. Награда, плата, воздаяние. 2. Корысть, прибыль, приобретение' [СЦРЯ 1847: 302].

Значение 'взятка' за этой лексической единицей прочно закрепилось лишь к 60-м годам XIX в. Материалы НКРЯ позволяют проследить, как взаимодействовали церковнославянское и русское значения и как утвердилась отрицательная оценка слова *мзда*.

*Младыи шляхтічь, или отрокъ всегда долженъ <...> наіпаче платіть возмездіе служащіймъ ибо въ томъ есть велікіи грѣхъ и порокъ, когда кто у кого кровію заслуженную и трудомъ **выработанную мзду наемнічу** удержітъ (Юности честное зеркало, 1717).*

Из примера видно, что слова *возмездие* и *мзда* выступают как синонимы. САР объясняет слово *возмездие* как 'награда, воздаяние' [САР Т. 4: ст. 126]. Обратим внимание, что и *возмездие*, и *мзду* работники получают за честный труд. Следовательно, оценка у обоих слов положительная. Работник, трудящийся по найму, именовался *мездник*.

Пример, отражающий неоднозначность оценки, находим в «Духовной» у В. Н. Татищева:

*В начале судия должен смотреть на состояние дела, если я и ничего не взяв, а противу закона сделаю, повинен наказанию, а если из **мзды**, то к законопреступлению присовокупится **лихоимство** и должен сугубого наказания. Когда же право и порядочно сделаю, и от правого возблагодарения приму, ничем осужден быть не могу. Другое, если **мзду за труд** пресечь и только одно **мздоимство** судить, то, конечно, более вреда государству и раззорения подданным последует (В. Н. Татищев. Духовная, 1734).*

Значение *плата* присутствует у обоих употреблений слова *мзда* в этом контексте, но с определенным нюансом. *Мзда*, принятая за справедливое разрешение вопроса в благодарность от правой стороны, не считается преступной, хоть и может быть истолкована как *мздоимство* – ‘*взимание мзды, взятки, подарков*’ [СРЯ XVIII Вып.4: 175]. Нужно сказать, что оценочный компонент у слова *мздоимство* двойственен, как и оценка слова *мзда* в этот период. Несправедливое судейство за мзду, которая оборачивается взяткой, дополняет нарушение закона *лихоимством* – ‘1. Ростовщичество, взяточничество; мздоимство. 2. Корыстолюбие, склонность к мздоимству’ [МАС Т. 2: 195].

К тому же, лихоимство входит в перечень грехов к исповеди – «греховная страсть, заключающаяся в приобретении выгоды за счет затруднительного положения ближнего» [Азбука веры], встречается в текстах молитв и на волне современного интереса к религии возрождается в лексиконе церковного дискурса.

Пример из «Духовной» В.Н. Татищева отражает двойственное отношение к получению платы сверх установленного жалования. Положительную оценку приобретает *мзда*, которую получают обязательно после вынесенного решения, её синонимом является *благодарность*. У *мзды* в отрицательном значении синонимом будет слово *взятка*, и, вероятно, о получении такой платы договариваются предварительно. Для обозначения человека, принимающего мзду-взятку, существовал ряд номинаций – *мздоимец, мздолюбец, лихоимец*. Желание ‘задарить мздой, преклонить на свою сторону’[САР Т. 4: 207] обозначалось глаголом *умздить*. Между взяткой и подарком-благодарностью возникает тонкая грань, которую невозможно параметризовать. Такая двойственность значения слова *мзда* сближает его с древнерусскими словами-синкретами. В исторической повести «Сказания о земле Московской» С. М. Голицын пишет:

А чтобы «умздить» хана и его вельмож, повелел он собирать дань со всех тверичей – с богатых и бедных, вынуждал их отдавать последнее добро; Александру удалось его «умздить» подарками, и тот позволил ему возвратиться в Тверь (С. М. Голицын Сказание о земле Московской, 1950 – 1955).

Архаизм *умздить*, вероятно, встретился писателю в архивных материалах, С. М. Голицын очень удачно встраивает его в контекст, сохраняя синкретичность значения – смыслы *щедро одарить* и *подкупить* сплетаются воедино. Кавычки, с одной стороны, подчеркивают архаичность, а с другой стороны, необычную семантику слова *умздить*. В диахронии все производные от *мзда* в значении ‘взятка’ заимствовали отрицательную оценку.

В заданном нами подкорпусе 1750 – 1770 гг. НКРЯ слово *мзда* встречается в 30 контекстах. Только в трех контекстах оно имеет значение ‘взятка’, которое реализуется в устойчивом выражении *судить на мзде* – ‘выносить судебное решение за взятку’:

*Я <...> знаю, что я преступник законов, что окрадывал государя, разорял ближнего, утеснял сирого, вдовицу и всех бедных **судил на мзде** (Н.И. Новиков. Живописец, 1775 г.).*

Данные НКРЯ позволяют сделать вывод, что отрицательное оценочное значение входило в язык через устойчивое выражение, которое не имело строгой соотнесенности со стилистической характеристикой текста.

В остальных 27 контекстах заданного подкорпуса причудливо переплетаются значения ‘плата’ и ‘вознаграждение’. Причем значение ‘вознаграждение’ имеет метафорическую природу и преобладает в текстах религиозного, духовного содержания:

*Государя ободрить, обещая ему неложно **достойную и величайшую на небеси мзду*** (архиепископ Платон (Левшин). Православное учение или сокращенная христианская богословия, 1765).

Значение ‘плата’ связано с материальным, бытовым аспектом, *мзду* получают за честный труд и старание. В этом примере контекстуальными синонимами слова *мзда* выступают генетические славянизмы *награждение*, *воздаяние*, которые, видимо, не воспринимались автором как слова высокого стиля:

*Такимъ успѣхомъ, я возгордѣся, великимъ обнадеживалъ себя **награжденіемъ**, но послѣ увидя, что надежда она, меня обманула, новое владѣтелю, поднесъ мое прошеніе, въ которомъ труды мои возвышая, должнаго, позаслугамъ моимъ, требовалъ **воздаянїя**. Владѣтель <...> устоялъ <...> вся его милость ограничивалась одною, годоваго моего жалованья, прибавкою. Я же иной, за труды мои ожидая **мзды**, таковою милостїю, удовольствоваться не могъ.* (Стефан Савицкий. Подземное путешествіе, 1762).

В Словаре Академии Российской *воздаяние* определяется как ‘1. То же что Воздавание. 2. Возмездие за доброе или злое дело. Воздавание – ‘действие воздающего, приношение оказывание’ [САР Т. 2: 484]. В Толковом словаре русского языка под ред. Д. Н. Ушакова *воздаяние* – ‘книж., устар. возмездие, кара или награда за поступки.’ [ТСУ Т. 1: 76]. В МАС *воздаяние* – ‘устар. и высок. Вознаграждение за что-л. || Отплата, возмездие’ [МАС Т. 1: 198].

При дальнейшем стилистическом обособлении церковнославянизмов слово *воздаяние*, маркированное принадлежностью к высокому стилю, пройдет путь от аксиологической двойственности – ‘справедливое воздаяние’, ‘воздаяние за добродетель’ и ‘воздаяние за грехи’, к закреплению отрицательной оценки – ‘посмертное воздаяние’, ‘получить воздаяние’, в соответствие с ценностной для русской культуры идеей о смирении.

Интересен такой пример современного употребления слова *воздаяние*:

И быть готовым безропотно понести за это наказание/воздаяние/кармическую отработку (выберете термины, которые Вам больше нравятся) (Женщина + мужчина: Брак (форум), 2004).

Включение слова *воздаяние* в один ряд со словами *наказание* и *кармическая отработка* является продолжением развития оценочного значения этого слова в связи с изменением значимости ценностных представлений носителей языка. Исчерпав качественный потенциал оценочной динамики (переход от оценочной двойственности к отрицательной оценке), слово *воздаяние* изменяет количественную оценку, которая выражается в снижении важности понятия воздаяния для секуляризованного общества. Выразительно графическое оформление примера: автор использует не запятую, которая служит «для отделения друг от друга различных структурных частей предложения <...> для выделения с двух сторон конструкций, расположенных в середине предложения» [РЯ ШЭС 2014: 96], а косую черту – слеш. Слеш – знак альтернативности понятий. В данном случае он означает выбор из нескольких вариантов подходящего, и этот открытый выбор определяется этическими и культурными предпочтениями адресата текста, о чем свидетельствует вставная конструкция *выберете термины, которые Вам больше нравятся*.

Объединение в один ряд воздаяния и кармической отработки отражает неустойчивость, своеобразную размытость оценочной шкалы, которая возникла при попытке совместить ценностные представления разных культур, вследствие чего каждый из элементов ряда по-своему обесценивается, снижает значимость. В. А. Марьянчик отмечает, что для эпохи постмодерна характерен аксиологический нигилизм, который проявляется «в полном отрицании ценностно-нормативного подхода к анализу культуры, в смещении позиций ценностей и антиценностей, в

отрицании существования некоего аксиологического прототипа, в т.ч. для членов одного сообщества, в осознании современных ценностей как симулякров» [Марьянчик 2013: 35]. Как нам кажется, в описанном примере аксиологический нигилизм оборачивается эклектикой соединения в одном контексте разнородных по своей культурно-исторической принадлежности ценностей, сдвигами языковых оценок понятий.

Слово *мзда* могло контекстуально приобретать значение 'наказание':

...пограбивъ оставшіе нещастныхъ пожитки сами достойную мзду зараженіемъ воспріимали, избѣгшіе же лютой смерти не избѣгли однако гражданскаго суда
(О наказаніи грабителей мертвыхъ тѣль, 1772).

В Словаре Академии Российской отмечен композит, соединивший основу *мзда* и слово *воздаяние* – *мздовоздаяние* 'вознаграждение кого за что' [САР Т. 4: 207]. В первой половине XVIII в. в соответствии с общей тенденцией секуляризации славянизмов слово *мздовоздаяние* входит в светскую литературу:

Добродѣтель Генрикову и дѣла преславно сотворенныя, достойным мздовоздаяніемъ наградил Алфонс (Введение в гисторию европейскую. Пер. Гавриила Бужинскаго, 1718) [СРЯ XVIII Вып. 12,: 174].

Уже с последней трети XVIII в. оно прочно закрепляется в церковном дискурсе. Узкая сфера употребления закрепила за словом *мздовоздаяние* аксиологическую двойственность, возникающую в том числе вследствие столкновения религиозного и секулярного мировоззрения:

(1) *Все же вся безысходность этого вопроса исчезает, если мы понимаем загробную жизнь не исключительно, как мздовоздаяние, но и как продолжающуюся земную жизнь...* (С. Н. Булгаков. Жизнь за гробом, 1920 – 1930);

(2) *А всякое преступление должно получить по законам Божия правосудия праведное мздовоздаяние, страшную Божию кару, если не будет снято в Таинстве Покаяния* (Поучение, 2004).

С позиции религиозного мировоззрения *мздовоздаяние* как плата за грехи ведет к искуплению и очищению, что имеет особое значение для аксиосферы верующего. С точки зрения светского человека, *мздовоздаяние* воплощает, скорее, антиценность, так как ассоциируется со страхом перед наказанием.

Слово *возмездие* в диахронной перспективе, подобно слову *мзда*, показывает аксиологическую динамику, сопровождающую семантический сдвиг. В МАС *возмездие* определяется ‘*высок. Отплата, кара за причиненное, совершенное зло*’ [МАС Т. 1: 200]. Необходимо отметить, что оценочность этого слова зависит от актантной позиции участника речевой ситуации. С позиции говорящего субъекта *возмездие*, скорее, благо, так как в нем воплощается вера в справедливость. С точки зрения объекта, на который направлено *возмездие*, оценка будет отрицательной. (Ср.: *Наконец-то моего обидчика настигло возмездие. – Меня настигло возмездие*). Словарь русского языка XVIII в. дает слову *возмездие* определение, отражающие семантическую и оценочную энантиосемию ‘1. Вознаграждение, воздаяние; плата 2. Отмщение, наказание’ [СРЯ XVIII Вып. 4: 14]. Закрепление в качестве основного значения с отрицательной оценкой началось в 40-х годах XIX в.:

<...>*какое страшное возмездие ожидает Тавриз, если народ посягнет на флаг и представителя Русского Падшаха* (Хаджи-Искендер. Из моей служебной деятельности, 1845).

Этому процессу способствовала активизация конструкции со значением причины ‘*возмездие за что-либо*’.

Описание семантической и аксиологической динамики слов *воздаяние*, *мздовоздаяние* и *возмездие* позволяет взглянуть на языковые представления о мере ответственности человека за его поступки с точки зрения причинно-следственных связей. Неоднозначно определяется, а иногда и остается неназванной сила, запускающая механизмы оплаты и расплаты, но причины и следствия ее действий вербализуются вполне определенно.

3.6. Выводы

Описание аксиологической динамики на примере семи лексических единиц с отдельными их производными на протяжении последней трети XVIII – начале XXI веков позволяет увидеть изменение оценки на фоне развития лексики русского языка.

Изменение оценки слова в динамике не является одномоментным и бессимптомным. Оно выражается различными языковыми маркерами:

- графические показатели (употребление кавычек);
- орфография (намеренно неверное написание, эксплицирующее внутреннюю форму слова – *добрАжелатели* и *добрОжелатели*);
- словообразовательная активность (*благоневерный, чреватенько, чреватовато*);
- морфолого-синтаксические показатели (изменение управления – *чреватю последствиями* vs. *это чреватю*);
- контекстуальная синонимия (*подленько, виктимненько, чреватенько*);
- лексико-синтаксические показатели (уточняющие определения: *сатанинская прелесть*);
- введение в текст описательных толкований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализированные в диссертации семь слов (*благочестивый, благодетель, доброжелатель, прелесть, чреватый, домогательство, мзда*) с отдельными их производными позволили рассмотреть изменение оценки как динамический процесс. Преимущество исследования конкретных слов по сравнению с описанием массива лексических единиц проявилось в том, что мы смогли отметить многие частные явления, которые выходят из поля зрения, если сосредоточиться на обобщении и поиске универсалий. Тем не менее, аксиологическая динамика, безусловно, зависит от общего историко-лингвистического фона лексической системы.

Первоначально для большей наглядности мы стремились отобрать те лексические единицы, оценочный компонент которых завершил некий смысловой виток, изменившись на противоположное. Однако в результате мы убедились, что сама идея завершенности упрощает реальное положение вещей: чем разнообразнее языковой материал с социолингвистической и тематической точки зрения, тем более неоднородной оказывается аксиологическая динамика.

Мы с большой осторожностью относимся к идее о том, что какой-то процесс был ведущим при перемене знака оценки в ходе исторического функционирования слова. Как нам кажется, вернее говорить о совокупности факторов, влияющих и сопровождающих изменение оценки. Эти факторы наслаиваются один на другой, совпадая во времени. Материал, который мы описали, конечно, позволяет выделить некоторые закономерности изменения оценочного знака:

- Десемантизация корня, утрата внутренней формы активизирует процесс перемены оценочного знака (*благочестивый, благодетель, чреватый*). С другой стороны, очевидная внутренняя форма с сильным оценочным

компонентом может быть сдерживающим фактором для перемены оценочного знака (слово *доброжелатель*);

- Изменение грамматических характеристик слова, расширение словообразовательных возможностей слова закрепляет изменившийся оценочный компонент (*благоверный, чреватый, домогаться*);

- Динамика оценки представляет собой поступательный процесс, при котором слово обязательно проходит этап оценочной энантиосемии. На этом этапе носители языка стремятся дополнительно маркировать оценочность, используя метаязыковые указатели (в прямом смысле, в хорошем смысле, в плохом смысле, буквально и т.д.) и кавычки.

Оценочная энантиосемия нередко отражает двойственность ценностного восприятия того или иного явления, динамику ценностных представлений носителей русского языка (*мзда, мздовоздаяние, возмездие, прелесть*). Таким образом, подтверждается социальная природа оценки и ее тесная связь с языковой картиной мира.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- ВЭФ – Всемирная энциклопедия: Философия
- МАС – Словарь русского языка в 4 т. (под ред. А. П. Евгеньевой)
- НКРЯ – Национальный корпус русского языка
- РСС – Русский семантический словарь: Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений (1998 – 2007) под ред. Н. Ю. Шведовой
- РЯ ШЭС – Русский язык. Школьный энциклопедический словарь.
- САР – Словарь Академии Российской
- СРС – Словарь русских синонимов
- СРЯ XVIII в. – Словарь русского языка XVIII в.
- СРЯ XI – XVII – Словарь русского языка XI – XVII вв.
- СЦРЯ 1847 – Словарь церковнославянского и русского языка, составленный вторым отделением Императорской Академии наук.
- СЯ Пушкина – Словарь языка А. С. Пушкина
- ТСР Яз. изм. – Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения (под ред. Г. Н. Складневской)
- ТСУ – Толковый словарь русского языка (под ред. Д. Н. Ушакова)
- ФКС – Функционально-когнитивный словарь русского языка. Языковая картина мира (под редакцией Т. А. Кильдибековой)
- ФЭС – Философия: Энциклопедический словарь
- ЧРС – Чешско-русский словарь
- ERD – English – Russian Dictionary

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. *Бабушка на лавочке: «Добро желатели» и «Добра желатели» – в чем разница?* [Электронный ресурс] // http://irinakun.blogspot.ru/2015/10/blog-post_16.html (дата обращения 01. 12. 2017).
2. *Демотиватор «iPhone – моя прелесть»* [Электронный ресурс] // <http://risovach.ru/kartinka/6092829> (дата обращения: 16.09.2017).
3. *Доброжелатель – это кто?* [Электронный ресурс] // <http://www.bolshoyvopros.ru/questions/170935-dobrozhelatel-eto-kto.html> (дата обращения 01. 12. 2017).
4. *Живова Е. Схианхимандрит Иоанникий, Чихачёво. Вымыслы и реальность. И немного о тех, кто рядом с ним* [Электронный ресурс] // <http://matusenka.livejournal.com/159985.html> (дата обращения: 16.09.2017)
5. *Матушки. ру. Платок и все о нем.* [Электронный ресурс] // <http://matushki.ru/viewtopic.php?f=51&t=414&start=1000> (дата обращения: 16.09.2017).
6. *Мой машин бывший* [Электронный ресурс] // <http://www.bmwclub.ru/index.php?gallery/albums/moj-mashin-byvshij.97/> (дата обращения 01. 12. 2017).
7. *Национальный корпус русского языка* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ruscorpora.ru/>. – [Дата обращения: 11. 10. 2017].
8. *Православная энциклопедия «Азбука веры»* [Электронный ресурс] // <https://azbyka.ru/lixoimanie-lixoimstvo> (дата обращения: 16.09.2017).
9. *Прихожанка. ру. Народная медицина домашняя медицина, травы и другое.* [Электронный ресурс] // <https://prihozhanka.ru/viewtopic.php?t=11&start=80> (дата обращения: 16.09.2017).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СЛОВАРЕЙ

1. *English-Russian Dictionary* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://translate.academic.ru/%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2/en/ru/> – [Дата обращения: 11. 10. 2017].
2. *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. А – З // Т. 1 – 4. – М.: Русский язык, 1978. – 699 с.
3. *Русский семантический словарь.* Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений. Т. 1 / РАН. Ин-т рус. яз.; Под общей ред. Н. Ю. Шведовой. М.: 2002. XXV, 807 с.
4. *Седакова О. А.* Церковнославяно-русские паронимы: Материалы к словарю. – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2005. – 429 с.
5. *Сеничкина Е.П.* Словарь эвфемизмов русского языка. – М.: Флинта, Наука, 2008. – 458 с.
6. *Словарь Академии Российской.* В 6 томах. Т. 1 – 6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.runivers.ru/lib/book3173/10108/> – [Дата обращения: 11. 10. 2017].
7. *Словарь русских синонимов.* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-7805.htm> – [Дата обращения: 11. 10. 2017].
8. *Словарь русского языка XI – XVII вв.* – Вып. 18. – М.: Наука, 1992. – 290 с.
9. *Словарь русского языка XVIII века.* – Вып. 11. (Крепость – Льяной). – СПб.: Наука, 2000. – 256 с.
10. *Словарь русского языка XVIII века.* – Вып. 12. (Льстец – Молвотворство). – СПб.: Наука, 2001. – 253 с.
11. *Словарь русского языка XVIII века.* – Вып. 4. (Воздух – Выпись). – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1988. – 256 с.

12. *Словарь русского языка XVIII века.* – Вып. 6. (Грызться – Древный). – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1991. – 256 с.
13. *Словарь русского языка XVIII века.* – Вып. 2. (Безпристрастный – Вейэр). – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1985. – 247 с.
14. *Словарь русского языка:* В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований. – 4-е изд.: стер. – М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. Т. 1. А–Й. – 702 с.
15. *Словарь русского языка:* В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований. – 4-е изд.: стер. – М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. Т. 2. К–О. – 736 с.
16. *Словарь русского языка:* В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований. – 4-е изд.: стер. – М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. Т. 3 – П–Р. – 750 с.
17. *Словарь русского языка:* В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований. – 4-е изд.: стер. – М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. Т. 4 – С–Я. – 797 с.
18. *Словарь церковнославянского и русского языка, 1847* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.klf.kpfu.ru/russlovar18-19/sl_1847/dict_db/pdf/1847_2_302.pdf#page=2 – [Дата обращения: 11. 10. 2017].
19. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 3. [Р-ѡ и дополнения А – М]. Вып. 1. Р – СТЕП / Труд И.И. Срезневского. – СПб.: Отд-ние рус. яз. и словесн. Имп. АН, 1903. – [1] с., 1684, 272 стб.
20. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 2. Л – П / Труд И.И. Срезневского. – СПб.: Отд-ние рус. яз. и словесн. Имп. АН, 1902. – [3], 15 с., 1802 стб.
21. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1. А– К / Труд. И.И. Срезневского. – СПб.: Отд-ние рус. яз. и словесн. Имп. АН, 1893. – [3], IX, 49 с., 1420 стб.

22. *Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения.* Под ред. Г. Н. Складчиковой. – СПб.: Российская академия наук, Институт лингвистических исследований. Изд-во «Фолио-Пресс», 2002. – 700 с.
23. *Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова.* – М.: Гос ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ, 1935. Т. 1. А–Кюрины. –1562 стб.
24. *Философия: Энциклопедический словарь/ под ред. А. А. Ивина.* - М.: Гардарики, 2004. - 1072 с.
25. *Функционально-когнитивный словарь русского языка: Языковая картина мира / Под общей редакцией проф. Т. А. Кильдибековой.* – М.: «Гнозис», 2013. – 676 с.
26. *Чешско-русский словарь [Электронный ресурс].* – Режим доступа: <https://ru.glosbe.com/cs/ru/mzda> – [Дата обращения: 11. 10. 2017].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Авганова, Н. А.* О контекстной зависимости предложений, объединенной оценочной связью / Н. А. Авганова // Вопросы теории английского языка. Сб. тр. Вып. 2. – М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1975. – С. 179 – 186.
2. *Аксиологическая лингвистика: лингвокультурные типажи: Сб. науч. тр. / Под ред. В.И. Карасика.* – Волгоград: Парадигма, 2005. – 310 с.
3. *Алефиренко, Н. Ф.* Спорные проблемы семантики: Монография / Н. Ф. Алефиренко. – Волгоград: Перемена, 1999. – 274 с.
4. *Алпатов, В. М.* Норма и мода / В. М. Алпатов // Мода в языке и коммуникации: Сб. статей / Отв. ред. Л. Л. Федорова. – М.: Институт лингвистики, 2014. – С. 37 – 46.
5. *Анненкова, И. В.* Язык современных СМИ в контексте русской культуры (попытка риторического осмысления) / И. В. Анненкова // Русская речь. – 2006, № 1. – С. 69 – 78.

6. *Апресян, Ю. Д.* Избранные труды. В 2 т. Т. 1. Лексическая семантика / Ю. Д. Апресян. – М.: Школа «Языки русской культуры», Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995а. – 472 с.
7. *Апресян, Ю. Д.* Избранные труды. В 2 т. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография / Ю. Д. Апресян. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1995б. – 767 с.
8. *Арбатский, Д. Л.* Множественное число гиперболическое / Д. Л. Арбатский // Русский язык в школе. – 1972, №5. – С. 91 – 96.
9. *Арнольд, И. В.* Стилистика. Современный английский язык: Учебник / И. В. Арнольд. – М.: Флинта. Наука, 2005. – 384 с.
10. *Арутюнова, Н. Д.* Аксиология в механизмах языка и речи / Н. Д. Арутюнова // Проблемы структурной лингвистики – 1982. – М.: Наука, 1984. – С. 5 – 23.
11. *Арутюнова, Н. Д.* Об объекте общей оценки / Н. Д. Арутюнова // Вопросы языкознания. – 1985, № 3. – С. 13–24.
12. *Арутюнова, Н. Д.* Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт / Н. Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1988. – 341 с.
13. *Арутюнова, Н. Д.* Тождество и подобие / Н. Д. Арутюнова // Логический анализ языка. Тождество и подобие. Сравнение и идентификация / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова – М.: Наука, 1990. – С. 3 – 22.
14. *Арутюнова, Н. Д.* Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
15. *Арутюнова, Н. Д., Ширяев, Е. Н.* Русское предложение. Бытийный тип / Н. Д. Арутюнова, Е. Н. Ширяев. – М.: Русский язык, 1983. – 198 с.
16. *Архангельский, А.* Огнь бо есть. Словесность и церковность: литературный сопромат [Электронный ресурс] / А. Архангельский // Новый мир. – 1994, № 2. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/2/archan.html (дата обращения: 16.09.2017)

17. *Байрамова, Л. К.* Счастье и несчастье как ценность и антиценность во фразеологической парадигме / Л. К. Байрамова. – Казань: Центр инновационных технологий, 2011. – 275 с.
18. *Балалыкина, Э. А.* Метаморфозы русского слова / Э. А. Балалыкина. – М.: Флинта Наука, 2012. – 260 с.
19. *Баранов, А. Н.* Введение в прикладную лингвистику / А. Н. Баранов. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 360 с.
20. *Бартминьский, Е.* Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике: [перевод с польского] / Е. Бартминьский. – Москва: Индрик, 2005. – 527 с.
21. *Белоусова, А. С., Воротников, Ю. Л.* Концепт как предмет описания в «Русском идеографическом словаре. Мир человека и человек в окружающем его мире» / А. С. Белоусова, Ю. Л. Воротников // Человек о языке – язык о человеке: Сборник статей памяти ак. Н. Ю. Шведовой / отв. ред. М. В. Ляпон. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2012. – С. 33 – 45.
22. *Бельчиков, Ю. А.* Русский литературный язык во второй половине XIX века / Ю. А. Бельчиков. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 224 с.
23. *Бельчиков, Ю. А.* О соотношении разговорной и книжной лексики в проблемных очерках второй половины XIX в. / А. Ю. Бельчиков // Человек о языке – язык о человеке: Сборник статей памяти ак. Н. Ю. Шведовой / Отв. ред. М. В. Ляпон. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2012. – С. 46 – 51.
24. *Березович, Е. Л.* Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования / Е. Л. Березович. – М.: Индрик, 2007. – 599 с.
25. *Блох М. Я., Ильина Н. В.* Структура и семантика оценочной конструкции / М. Я. Блох, Н. В. Ильина // Функциональная семантика синтаксических конструкций: Межвуз. сборник научных трудов / Отв. ред. М. Я. Блох. – М.: МГПИ, 1986. – С. 14 – 23.
26. *Блюхер, Ф. Н.* Зачем исследовать истории «понятий»? / Ф. Н. Блюхер // Эволюция понятий в свете истории русской культуры / Отв. ред. В. М. Живов, Ю. В. Кагарлицкий. – М.: Языки славянских культур, 2012. – С. 24 – 35.

27. *Брагина, Н. Г.* Память в языке и культуре / Н. Г. Брагина. – М.: Языки славянских культур, 2007. – 520 с.
28. *Брызгунова, Е. А.* Эмоционально-стилистические различия русской звучащей речи / Е. А. Брызгунова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 116 с.
29. *Будагов, Р. А.* Рецензия на книгу «Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов» / Р. А. Будагов // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – 1971, т. XXX, вып. 4. – С. 359 – 366.
30. *Булыгина, Т. В., Шмелев, А. Д.* Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 576 с.
31. *Вайс Д., Куммер Р.* Советский дискурс о пище / Д. Вайс, Р. Куммер // Еда по-русски в зеркале языка / Н. Н. Розанова, М. В. Китайгородская, У. Долешаль, Д. Вайс и др. – М.: РГГУ, РАН. Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова, 2013. – С. 27 – 162.
32. *Валгина, Н. С.* Современный русский язык: Учеб. пособие для филол спец. / Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина, В. В. Цапукевич. – М.: Высшая школа, 1971. – 512 с.
33. *Ванькова, И.* Дерево как живое и неживое: антропологический взгляд на чешскую языковую картину мира / И. Ванькова // Человек о языке – язык о человеке: Сборник статей памяти ак. Н. Ю. Шведовой / Отв. ред. М. В. Ляпон. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2012. – С. 70 – 82.
34. *Вахитов, С. В.* Лекция о русском сленге / С. В. Вахитов. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2001. – 48 с.
35. *Вежбицка, А.* Семантические универсалии и описание языков / А. Вежбицка. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1999. – 780 с.
36. *Вежбицкая, А.* Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. – М.: Русские словари, 1996. – 416 с.

37. *Вендина, Т. И.* Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования (макрокосм) / Т. И. Вендина. – М.: Изд-во «Индрик», 1998. – 240 с.
38. *Вепрева, И. Т.* Женщина в грамматике, словаре и речевой практике / Т. И. Вепрева // Человек о языке – язык о человеке: Сборник статей памяти ак. Н. Ю. Шведовой / Отв. ред. М. В. Ляпон. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2012. – С. 91 – 99.
39. *Виноградов, В. В.* История слов: Ок. 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с ними связанных / В.В. Виноградов. Рос. акад. наук. Отд-ние лит. и яз. Науч. совет «Рус. яз.», Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. – М.: Б.и., 1999. – 1138 с.
40. *Виноградов, В. В.* О категории модальности и модальных словах в русском языке / В. В. Виноградов // Избранные труды. Исследования по русской грамматике. – М.: Наука, 1975. – С. 53 – 87.
41. *Виноградов, В. В.* Русский язык (грамматическое учение о слове) / В. В. Виноградов. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1972. – 614 с.
42. *Виноградов, В. В.* Избранные труды. Лексикология и лексикография / В. В. Виноградов. – М.: Наука, 1977. – 312 с.
43. *Виноградова, В. Н.* Оценки реалий и способов их выражения средствами словообразования / В. Н. Виноградова // Человек о языке – язык о человеке: Сборник статей памяти ак. Н. Ю. Шведовой / Отв. ред. М. В. Ляпон. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2012. – С. 107 – 114.
44. *Винокур, Г. О.* О языке художественной литературы / Г. О. Винокур. – М.: URSS, 2006. – 325 с.
45. *Воинова, Е. И.* Предложения с предикативами оценки в ряду соотносительных типов / Е. И. Воинова // Исследования по грамматике русского языка: ученые записки ЛГУ. Серия филол. наук. Вып. 77. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1973. – С. 49 – 55.
46. *Войнова, Л. А.* К вопросу о формировании системы художественно-образительных средств языка сентиментализма в русской поэзии первой

- половины XVIII в. / Л. А. Войнова // Очерки по стилистике русских литературно-художественных и научных произведений XVIII – начала XIX в / Отв. ред. Ю. С. Сорокин, З. М. Петрова. – СПб.: Наука, 1994. – С. 167 – 179.
47. Воркачев, С. Г. Любовь как лингвокультурный концепт / С. Г. Воркачев. – М.: Гнозис, 2007. – 284 с.
48. Вольф, Е. М. Функциональная семантика оценки / Е. М. Вольф. – М.: Наука, 1985. – 228 с.
49. Воропаев, В. А. Что означают слова «прелесть» и «просвещение» у А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя / В. А. Воропаев. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.portal-slovo.ru/philology/45807.php> (дата обращения: 16.09.2017).
50. Всемирная энциклопедия: Философия / под. ред. А. А. Грицанова. – М.: АСТ, Минск: Харвест. Современный литератор, 2001. – 1312 с.
51. Гак, В. Г. От толкового словаря к энциклопедии языка / В. Г. Гак // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1971. Т. 30. Вып. 6. – С. 524 – 530.
52. Гак, В. Г. Синтаксис эмоции и оценок / В. Г. Гак // Функциональная семантика. Оценка, экспрессивность, модальность. In memoriam Е. М. Вольф: Сборник. – М.: ИЯЗ РАН, 1996. – С. 20 – 31.
53. Галкина-Федорук, Е. М. Современный русский язык. Лексикология. Фонетика. Морфология: Учебное пособие / Е.М. Галкина-Федорук, К.В. Горшкова, Н.М. Шанский. – М.: Учпедгиз, 1958. – 402 с.
54. Гальперин, И. Р. Избранные труды / И. Р. Гальперин. – М.: Высшая школа, 2005. – 255 с.
55. Ганеев, Б. Т. Противоречия в языке и речи / Б. Т. Ганеев. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2004. – 472 с.
56. Генералова, Е. В. Энантиосемия в русском языке XVI-XVII вв. / Е. В. Генералова // История русского языка и культурная память народа: Мат-лы секции «Ист. лексикология и лексикография». XXXVI Межд. филолог. конф. /Отв. ред. О.А. Черепанова. – СПб., 2007. – С. 16 – 22.

57. *Голодная, В. Н.* Перемена оценочного знака лексем с базисной отрицательной семантикой / В. Н. Голодная // Язык и межкультурная коммуникация. Материалы межвузовской научно-практической конференции. – Ростов-на-Дону: изд-во ИУБиП, 2005.
58. *Горобец, К. В.* Аксиосфера права: философский и юридический дискурс / К. В. Горобец. – Одесса: Феникс, 2013. – 218 с.
59. *Грановская, Л. М.* Русский литературный язык в конце XIX и XX вв.: Очерки / Л. М. Грановская. – М.: ООО «Издательство Элпис», 2005. – 448 с.
60. *Грановская, Л. М.* Стилистика современного русского литературного языка: Тексты лекций / Л. М. Грановская. – Баку: Б. и., 1971. – 96 с.
61. *Гусейнов, Г. Ч.* Введение в эрратическую семантику (на материале «Живого журнала») / Г. Ч. Гусейнов // Integrum: точные методы и гуманитарные науки: сборник статей / отв. ред. Г. Никипорец-Такигава. – М.: «Летний сад», 2006. – С. 383 – 405.
62. *Гусейнов, Г. Ч.* Ложь как состояние сознания / Г. Ч. Гусейнов // Вопросы философии. – 1989, № 11. – С. 64 – 77.
63. *Гусейнов, Г. Ч.* Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х / Г. Ч. Гусейнов. – М.: Три квадрата, 2004. – 272 с.
64. *Два века в двадцати словах: сборник статей* / М. К. Данова, Н.Р. Добрушина, А. С. Опачанова; отв. ред. Н. Р. Добрушина, М. Э. Даниэль; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. – 453 с.
65. *Дейк Т. А.* ванн. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ванн Дейк. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
66. *Дементьев, В. В.* Коммуникативные ценности русской культуры: категория персональности в лексике и прагматике / В. В. Дементьев. – М.: Глобал Ком, 2013. – 336 с.
67. *Демьянков В. З.* Слово понятие и понимание в обыденном русском языке // Человек о языке – язык о человеке: Сборник статей памяти ак. Н. Ю.

Шведовой / Отв. ред. В. М. Ляпон. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2012. – С. 119 – 139.

68. *Денисов, П. Н.* Очерки по русской лексикологии и учебной лексикографии / П. Н. Денисов. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1974. – 256 с.

69. *Добродомов, И. Г.* О Филонах и филонах / И. Г. Добродомов // Вестник Казахского национального университета. Серия филологическая. – 2004, № 6 (78). – С. 30 –37.

70. *Добрушина, Е. Р.* Корпусные исследования по морфемной, грамматической и лексической семантике русского языка / Е. Р. Добрушина. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. – 272 с.

71. *Дронова, Л. П.* Картины русского мира: аксиология в языке и тексте / Л. П. Дронова. – Томск: Изд-во Томского университета, Томский межрегиональный институт общественных наук, 2005. – 353 с.

72. *Еда по-русски* в зеркале языка / Н. Н. Розанова, М. В. Китайгородская, У. Долешаль, Д. Вайс и др. – М.: РГГУ, РАН. Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова, 2013. – 586 с.

73. *Ермакова, О. П.* Жизнь российского города в лексике 30 – 40-х годов XX века. Краткий толковый словарь ушедших и уходящих слов и значений / О. П. Ермакова. – М.: Флинта. Наука, 2011. – 192 с.

74. *Ермакова, О. П.* Ирония и ее роль в жизни языка / О. П. Ермакова. – Калуга, КГПУ им. К. Э. Циолковского, 2005. – 204 с.

75. *Ермакова, О. П.* Семантические процессы в русском молодежном жаргоне / О. П. Ермакова // Поэтика. Стилистика. Язык и культура. Сб. ст. памяти Т. Г. Винокур / Отв. ред. Н. Н. Розанова. – М.: Наука, 1996. – С. 190 – 199.

76. *Ермакова, О. П.* Тоталитарное и посттоталитарное общество в семантике слов / О. П. Ермакова // Najnowsze dzieje językow slowianskich. Русский язык / Red. E. Širjaev. – Opole, 1997. – С. 121 – 165.

77. *Ефремов, А. Ф.* Язык Н. Г. Чернышевского / А. Ф. Ефремов. – Саратов: Саратов. гос. пед. ин-т, 1951. – 380 с.
78. *Ефремов В. А.* Динамика русской языковой картины мира: вербализация концептуального пространства «мужчина – женщина»: автореф. дис. ... докт. филол. наук: 10.02.01 / Ефремов Валерий Анатольевич. – СПб., 2010. – 40 с.
79. *Живов, В. М.* История понятий, история культуры, история общества / В. М. Живов // Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени / Под ред. В. М. Живова. – М.: Языки славянских культур, 2009. – С. 5 – 26.
80. *Живов, В. М.* Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVIII – начала XIX века / В. М. Живов. – М.: ИРЯ АН СССР, 1990. – 271 с.
81. *Живов, В. М.* Смена норм в истории русского литературного языка XVIII века / В. М. Живов // Russian linguistics. – 1988, № 12. – С. 12 – 47.
82. *Живов, В. М.* Язык и культура в России XVIII века / В. М. Живов. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 591 с.
83. *Зализняк, Анна А.* Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект Каталога семантических переходов / Анна А. Зализняк // Вопросы языкознания. – 2001, № 2. – С. 13 – 26.
84. *Зализняк, Анна А., Левонтина, И. Б., Шмелёв, А. Д.* Ключевые идеи русской языковой картины мира: Сб. ст. / Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. – М.: Языки русской культуры, 2005. – 544 с.
85. *Зализняк, Анна А., Шмелев, А. Д.* Льстить: семантическая эволюция и актуальная полисемия / Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев // Логический анализ языка. Между ложью и фантазией / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М.: Издательство «Индрик», 2008. – С. 660 – 667.
86. *Зализняк, Анна А.; Левонтина, И. Б.; Шмелев, А. Д.* Константы и переменные русской языковой картины мира / Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. – М.: Языки славянских культур, 2012. – 696 с.

87. *Золотова, Г. А.* Коммуникативная грамматика русского языка / Г. А. Золотова. – М.: Наука, 1998. – 528 с.
88. *Зубова, Л. В., Меньшикова, Ю. В.* Морфемика и словообразование современного русского языка: Учебник для высших учебных заведений Российской Федерации / Л. В. Зубова, Ю. В. Меньшикова. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2014. – 255 с.
89. *Ивин, А. А.* Аксиология: научное издание / А. А. Ивин. – М.: ВШ, 2006. – 390 с.
90. *Каган, М. С.* Философская теория ценности / М. С. Каган. СПб.: Петрополис, 1997 – 205 с.
91. *Калимуллина, Л. А.* История эмотивной лексики и фразеологии русского языка / Л. А. Калимуллина. – Уфа: Восточный университет, 2004. – 120 с.
92. *Карасик, В. И.* Лингвокультурный типаж «русский интеллигент» / В. И. Карасик // Аксиологическая лингвистика: лингвокультурные типажы: Сб. науч. тр. / Под ред. В. И. Карасика. – Волгоград: Парадигма, 2005а. – С. 25 – 61.
93. *Карасик, В. И.* Этноспецифические концепты / В. И. Карасик // Иная ментальность: коллективная монография / Карасик В. И., Прохвачева О. Г., Зубкова Я. В., Грабарова Э. В.. – М.: Гнозис, 2005б. – С. 8 – 101.
94. *Карасик, В. И.* Язык социального статуса / В. И. Карасик. – М.: Гнозис, 2002. – 333 с.
95. *Карасик, В. И.* Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с.
96. *Караулов, Ю. Н.* О состоянии русского языка современности. Доклад на конференции «Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики» / Ю. Н. Караулов. – М.: Б. и., 1991. – 66 с.
97. *Киселева, Л. А.* Употребление эмоционально-оценочных местоимений / Л. А. Киселева // Русский язык в школе. – 1968, № 4. – С. 66 – 69.

98. *Князев, Ю. П.* Грамматическая семантика: Русский язык в типологической перспективе / Ю. П. Князев. – М.: Языки славянских культур, 2007. – 704 с.
99. *Ковалевская, Е. Г.* Средства и приемы цветописи в произведениях Н. М. Карамзина / Е. Г. Ковалевская // Очерки по стилистике русских литературно-художественных и научных произведений XVIII – начала XIX в. / Отв. ред. Ю. С. Сорокин, З. М. Петрова. – СПб.: Наука, 1994. – С. 108 – 144.
100. *Ковшова, М. Л.* Лингвокультурологический метод во фразеологии: Коды культуры / М. Л. Ковшова. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 456 с.
101. *Козеллек, Р.* Социальная история и история понятий / Пер. с нем. Ю. И. Баилова / Р. Козеллек // Исторические понятия и политические идеи в России XVI – XX вв.: Сборник научных работ. – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге: Алетейа, 2006. – С. 33 – 53.
102. *Колесов, В. В.* «Жизнь происходит от слова...» / В. В. Колесов. – СПб.: 1999. – 368 с.
103. *Колесов, В. В.* Гордый наш язык / В. В. Колесов. – 2-е изд.: перераб. – СПб.: «Авалон», «Азбука-классика», 2006. – 352 с.
104. *Колесов, В. В.* Отражение русского менталитета в слове / В. В. Колесов // Человек в зеркале наук: труды методологического семинара «Человек»: межвуз. сб. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1993. – С. 106 – 124.
105. *Колесов, В. В.* Синонимия как разрушение многозначности слова в древнерусском языке / В. В. Колесов // Вопросы языкознания. – 1985, № 2. – С. 80 – 87.
106. *Колесов, В. В., Колесова, Д. В., Харитонов, А. А.* Словарь русской ментальности : в 2 т / В. В. Колесов, Д. В. Колесова, А. А. Харитонов. – СПб.: Златоуст, 2014.
107. *Колесов, В. В.* Философия русского слова / Колесов В.В. – СПб. : ЮНА, 2002. – 444 с.

108. *Колшанский, Г. В.* Соотношение объективных и субъективных факторов в языке / Г. В. Колшанский. – М.: Наука, 1975. – 231 с.
109. *Корнилов, О. А.* Языковые картины мира как производные национальных менталитетов / О. А. Корнилов. – М.: МАЛП, 1999. – 349 с.
110. *Косериу, Э.* Синхрония, диахрония и история / Э. Косериу // «Новое в лингвистике». Вып. 3. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1965. – С. 297 – 536.
111. *Кремих, И. И.* Оценка в лексической семантике / И. И. Кремих // Парадигматические характеристики лексики: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. В. Д. Девкин. – М.: МГПИ, 1986. – С. 18 – 34.
112. *Кронгауз, М. А.* Русский язык на грани нервного срыва. 3D / М. А. Кронгауз. – М.: Астрель CORPUS, 2012. – 478 с.
113. *Кронгауз, М. А.* Слово за слово: о языке и не только / М. А. Кронгауз. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. – 480 с.
114. *Кругликова, Л. Е.* Структура лексического и фразеологического значения: Учеб. пособие / Л. Е. Кругликова. – М.: МГПИ, 1988. – 83 с.
115. *Крысин, Л. П.* Русское слово, своё и чужое. Исследования по современному русскому языку и социолингвистике / Л. П. Крысин. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 888 с.
116. *Крысин, Л. П.* Социальная маркированность языковых единиц / Л. П. Крысин // Вопросы языкознания. – 2000, № 4. – С. 26 – 42.
117. *Кубрякова, Е. С.* Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века / Е.С. Кубрякова// Язык и наука конца 20 века: Сб. ст. – М.: Институт языкознания РАН, 1995. – С. 144 – 238.
118. *Кузьмина, С. М.* Семантика и стилистика неопределенных местоимений / С. М. Кузьмина // Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект: Суперсегментная фонетика. Морфологическая семантика: Сб. ст. / Отв. ред. Д. Н. Шмелев. – М.: Наука, 1989. – С. 158 – 231.
119. *Купина, Н. А.* Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции / Н. А. Купина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 186 с.

120. *Кутина, Л. Л.* Историческая повесть Н. М. Карамзина «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода»: Стилистические наблюдения / Л. Л. Кутина // Очерки по стилистике русских литературно-художественных и научных произведений XVIII – начала XIX в. // Отв. ред. Ю. С. Сорокин, З. М. Петрова. – СПб, Наука, 1994. – С. 58 – 107.
121. *Ларина, Т. В.* Англичане и русские: Язык, культура, коммуникация / Т. В. Ларина. – М.: Языки славянских культур, 2013. – 360 с.
122. *Левонтина, И. Б.* Добро / И. Б. Левонтина // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим руководством Ю. Д. Апресяна. – М., Вена: Языки славянской культуры; Венский славистический альманах, 2004. – С. 280 – 283.
123. *Левонтина, И. Б.* О чём речь / И. Б. Левонтина. – Москва: АСТ CORPUS, 2016. – 506 с.
124. *Леонтьев, А. Н.* Деятельность, сознание, личность / А. Н. Леонтьев. – М.: Наука, 1975. – 304 с.
125. *Ли, Тоан Тханг.* Пространственная модель мира: когниция, культура, этнопсихология / Тоан Тханг Ли. – М.: Ин-т языкознания РАН, 1993. – 193 с.
126. *Лопатин, В. В.* Оценка как объект грамматики / В. В. Лопатин // Многогранное русское слово: Избранные статьи по русскому языку/ ред. О. Е. Иванова. – М.: «Издательский центр “Азбуковник”», 2007. – С. 536 – 542.
127. *Лотман, Ю. М., Успенский, Б. А.* О семиотическом механизме культуры / Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский // Ю. М. Лотман. Избранные статьи: В 3-х тт. Т. 3. – Таллинн, Александра, 1993. – С. 325 – 327.
128. *Лотман, Ю. М., Успенский, Б. А.* Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII в.) / Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский // Успенский Б. А. Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. – М.: Гнозис, 1994. – С. 219–253.
129. *Лукьянова, Н. А.* О соотношении понятий экспрессивность, эмоциональность, оценочность / Н. А. Лукьянова // Актуальные проблемы

лексикологии и словообразования. Вып. 5 / Отв. ред. К. А. Тимофеев. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1976.– С. 3 – 21.

130. *Малышев, А. А.* Подзвездный, подлунный, поднебесный, подоблачный и подсолнечный миры в русской языковой картине мира XVIII века / А. А. Малышев // Логический анализ языка. Человек в интерьере. Внутренняя и внешняя жизнь человека в языке / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М.: Издательский Дом ЯСК; Языки славянской культуры, 2017. – С. 184 – 194.

131. *Маркелова, Т. В.* Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке: Учеб. пособие по спецкурсу / Т. В. Маркелова. – М.: МПУ, 1993. – 125 с.

132. *Марьянчик, В. А.* Аксиологичность и оценочность медиа-политического текста / В. А. Марьянчик. – М.: Книжный дом «Либроком», 2013. – 272 с.

133. *Марьянчик, В. А.* Аксиологическая функция неологизмов медиа-политического дискурса (на материале газетных публикаций начала XXI века): автореф. дис. ... докт. филол. наук: 10.02.01 / Марьянчик Виктория Анатольевна – Архангельск, 2005. – 18 с.

134. *Мельничук, В. А.* Аксиология графики текста / В. А. Мельничук // Тезисы Международной научной конференции *Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna.* – Olsztyn, 2016. – str. 45 – 46.

135. *Мельничук, В. А., Зубова, Л. В.* Лексико-грамматический аспект аксиологической динамики на примере слова *чреватый* / В. А. Мельничук, Л. В. Зубова // *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 122. 45th International Philological Conference (IPC 2016).* – p. 380 – 383

136. *Минаева, Л. В.* Слово в языке и речи: Учеб. пособие для филол. спец. вузов / Л. В. Минаева. – М.: Высшая школа, 1986. – 147 с.

137. *Мирошников, Ю. И.* Аксиология: концепция эмотивизма / Ю. И. Мирошников. – Екатеринбург: Институт философии и права УрО РАН, 2007. – 164 с.

138. *Мокиенко, В. М.* Идеография и историко-этимологический анализ фразеологии / В. М. Мокиенко // Вопросы языкознания. – 1995, № 4. – С. 3 – 13.
139. *Мягкова, Е. Ю.* Эмоциональная нагрузка слова: Опыт психолингвистического исследования / Е. Ю. Мягкова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. Ун-та, 1990. – 110 с.
140. *Найдыш, В. М.* Ценности познания и гуманизация науки / В. М. Найдыш. – М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 1992. – 238 с.
141. *Никипорец-Такигава, Г.* Вторичные заимствования в русском языке XXI в. / Г. Никипорец-Такигава // Integrum: точные методы и гуманитарные науки: Сб. ст. / Отв. ред Г. Никипорец-Такигава. – М.: «Летний сад», 2006. – С. 87 – 106.
142. *Никитина, С. Е.* Устная народная культура и языковое сознание / С. Е. Никитина. – М.: Наука, 1993. – 189 с.
143. *Никифорова, Е. Б.* Семантическая эволюция лексической системы русского языка: тенденции, векторы, механизмы / Е. Б. Никифорова. – Волгоград, Изд-во ВГПУ «Перемена», 2008. – 327 с.
144. *Никифорова, С. А.* Семантика композитов с начальным зъл- в Минях XI-XIV вв.: синтагматическая сочетаемость как инструмент определения объема и специфики семантического поля / С. А. Никифорова // Вестник Удмуртского университета. – 2005, № 2. – С. 175 – 182.
145. *Николаева, Т. М.* Функциональная нагрузка неопределенных местоимений в русском языке и типология ситуаций / Т. М. Николаева // Изв. АН СССР. Сер. Лит. и яз. Т. 42. – 1983, № 4. – С. 342 – 353.
146. *Норман, Б. Ю.* Игра на гранях языка / Б. Ю. Норман. – М.: Флинта Наука, 2006. – 341 с.
147. *Ортега-и-Гассет, Х.* Две великие метафоры / Х. Ортега-и-Гассет // Теория метафоры: Сборник / под ред. Н. Д. Арутюновой. – М.: Прогресс, 1990. – С. 68 – 81.

148. *Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени* / Под ред. В. М. Живова. – М.: Языки славянских культур, 2009. – 432 с.
149. *Пеньковский, А. Б. Очерки по русской семантике* / А. Б. Пеньковский. – М.: Языки славян. культуры А. Кошелев, 2004. – 460 с.
150. *Перескокова, А. Ю. Метафорическое моделирование образа российских и американских средств массовой информации: рефлексивный аспект: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.20* / Перескокова Анна Юрьевна. – Екатеринбург, 2005. – 23 с.
151. *Петрищева, Е. Ф. Стилистически окрашенная лексика русского языка* / Е. Ф. Петрищева. – М.: Наука, 1984. – 222 с.
152. *Петров, Н. Е. О содержании и объеме языковой модальности* / Н. Е. Петров. – Новосибирск, Изд-во «Наука». Сибирское отделение, 1982. – 161 с.
153. *Петрова З. М. Поэзия Н. М. Карамзина. Функции и структура эпитета* / З. М. Петрова // *Очерки по стилистике русских литературно-художественных и научных произведений XVIII – начала XIX в.* / Отв. ред. Ю. С. Сорокин, З. М. Петрова. – СПб.: Наука, 1994. – С. 145 – 166.
154. *Пименова, М. В. Красотою украси: выражение эстетической оценки в древнерусском тексте* / М. В. Пименова – СПб., Владимир: Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, ВГПУ, 2007. – 415 с.
155. *Поливанов, Е. Д. О блатном языке учащихся и о «славянском языке» революции* / Е. Д. Поливанов // *Мода в языке и коммуникации: сб. статей* / Отв. ред. Л. Л. Федорова.– М.: Институт лингвистики, 2014. – С. 311 – 322.
156. *Попова, З. Д., Стернин, И. А. Лексическая система языка: Учебное пособие* / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1984. – 148 с.
157. *Попова, З. Д., Стернин, И. А. Когнитивная лингвистика* / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М.: АСТ Восток-Запад, 2010. – 314 с.

158. *Прохоров, Ю. Е.* В поисках концепта / Ю.Е. Прохоров. – М.: Флинта Наука, 2009. – 170 с.
159. *Пугач, В. Н., Заметалина, М. Н.* Аксиологичность как константная характеристика фразеологии: к проблеме коммуникативного режима речи / В. Н. Пугач, М. Н. Заметалина // Аксиологическая лингвистика: проблемы коммуникативного поведения: Сб. науч. тр. / Под ред. В. И. Карасика, Н. А. Красавского. – Волгоград: Перемена, 2003. – С. 49 – 52.
160. *Радбиль, Т. Б.* Национально-обусловленные модели языковой концептуализации мира в русском языке последних лет / Т. Б. Радбиль // Новые тенденции в русском языке начала XXI века: колл. монография / под ред. Л. В. Рацибурской. – М.: Флинта, Наука, 2015. – С. 8 – 36.
161. *Радбиль, Т. Б.* Язык и мир: Парадоксы взаимоотражения / Т. Б. Радбиль. – М.: Издательский Дом ЯСК; Языки славянской культуры, 2017. – 592 с.
162. *Ретунская, М. С.* Английская аксиологическая лексика: Монография / М. С. Ретунская. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1996. – 272 с.
163. *Ризель, Э. Г.* К вопросу о коннотации / Э. Г. Ризель // Сборник научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. Вып. 125. – М., 1978. – С. 10 – 18.
164. *Рословец, Я. И.* Номинативные эмоционально-оценочные предложения в русском языке / Я. И. Рословец // Русский язык в школе. – 1973, № 1. – С. 72 – 79.
165. *Русская грамматика.* В 2 т. Т. II. Синтаксис. / Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Наука, 1980. – 709 с.
166. *Русский язык.* Школьный энциклопедический словарь / Под ред. С. В. Друговейко-Должанской, Д. Н. Чердакова. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2014. – 584 с.
167. *Сальникова, Ю. А.* Аксиологические аспекты медиадискурса: Монография / Ю. А. Сальникова. – Биробиджан: Издательский центр ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2014. – 157 с.
168. *Сарнов, Б.* Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма / Б. Сарнов. – М.: Эксмо, 2005. – 596 с.

169. *Селищев, А. М.* Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет. 1917 – 1926 / А. М. Сарнов. – М.: Работник просвещения, 1928. – 248 с.
170. *Сергеева, Л. А.* Коннотативное значение как объект лингвистического анализа / Л. А. Сергеева // Исследования по семантике: Общие вопросы семантики: Межвузовский научный сборник / Отв. ред. Л. М. Васильев. – Уфа: Башкирский университет, 1983. – С. 114 – 119.
171. *Серебренникова, Е. Ф.* Этносемиотрия как способ лингвистического аксиологического анализа / Е. Ф. Серебренникова // Этносемиотрия ценностных смыслов: Коллективная монография / под ред. Е. Ф. Серебренниковой. – Иркутск: ИГЛУ, 2008. – С. 8 – 62.
172. *Сидоров, А. А.* История оформления русской книги: Учеб. пособие / А. А. Сидоров. – М. – Л.: Изд-во и 1-я тип. Гизлегпрома в Л., 1946. – 383 с.
173. *Симонян, А. А.* Оценочность как составляющая политического дискурса (на материале инаугурационных речей президентов США) / А. А. Симонян // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2006, № 3. – С. 65 – 77.
174. *Скляревская, Г. Н.* Метафора в системе языка / Г. Н. Скляревская. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004. – 166 с.
175. *Скляревская, Г. Н.* Новый академический словарь. Проспект / Г. Н. Скляревская. – СПб.: ИЛИ РАН, 1994. – 64 с.
176. *Скребнев, Ю. М.* Очерк теории стилистики: Учебное пособие для студентов и аспирантов филологических специальностей / Ю. М. Скребнев. – Горький: Изд-во ГГПИИЯ, 1975. – 170 с.
177. *Словарь русского языка XVIII в.* Проект / Отв. ред. Ю. С. Сорокина. – Л.: Наука, 1977. – 164 с.
178. *Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX–XXI веков* / Отв. ред. Л. П. Крысин. – М.: Языки славянских культур, 2008. – 712 с.

179. *Сорокин, Ю. С.* Развитие словарного состава русского литературного языка: 30 – 90-е годы XIX века / Ю. С. Сорокин. – М., Л.: Наука, 1965. – 566 с.
180. *Сорокин, Ю. С.* Язык и стиль карамзинской прозы в оценке современников и последующих поколений (180 лет с начала споров воцуг «нового слога») / Ю. С. Сорокин // Очерки по стилистике русских литературно-художественных и научных произведений XVIII – начала XIX в. / Отв. ред. Ю. С. Сорокин, З. М. Петрова.– СПб.: Наука, 1994. – С. 16 – 57.
181. *Степанов, Ю.С.* Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю. С. Степанов. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997 – 824 с.
182. *Стернин, И. А.* К разработке модели контрастивного описания национального коммуникативного поведения / И. А. Стернин // Аксиологическая лингвистика: проблемы коммуникативного поведения: Сб. науч. тр. / Под ред. В.И. Карасика, Н.А. Красавского. – Волгоград: Перемена, 2003. – С. 5 – 15.
183. *Стернин, И. А.* Проблемы анализа структуры значения слова / И. А. Стернин. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. – 156 с.
184. *Телия, В. Н.* Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В. Н. Телия. – М.: Наука, 1986. – 141 с.
185. *Телия, В. Н.* Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.
186. *Тер-Минасова, С. Г.* Синтагматика речи: онтология и эвристика. Общая и английская синтагматика составных номинативных групп / С. Г. Тер-Минасова. – М.: Книжный дом «Либроком», 2009. – 200 с.
187. *Толстая, С. М.* Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе / С. М. Толстая. – М.: Индрик, 2008. – 527 с.

188. *Толстой, Н. И.* Избранные труды. В 3 т. Т.1. Славянская лексикология и семасиология / Н. И. Толстой. – М.: «Языки русской культуры», 1997. – 520 с.
189. *Толстой, Н. И.* О предмете этнолингвистики, о ее роли в изучении языка и этноса / Н. И. Толстой // Ареальные исследования в языкознании и этнографии (Язык и этнос): Сб. науч. тр. / Отв. ред. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1983. – С. 181 – 190.
190. *Толстой, Н. И.* Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике / Н. И. Толстой. – М.: Индрик, 1995. – 512 с.
191. *Филин, Ф. П.* Истоки и судьбы русского литературного языка / Ф. П. Филин. – М.: Наука, 1981. – 326 с.
192. *Филиппов, А. В.* К проблеме лексической коннотации / А. В. Филиппов // Вопросы языкознания. – 1978, № 1. – С. 57 – 64.
193. *Хархордин, О. В.* История понятий как метод теории практик / О. В. Хархордин // Эволюция понятий в свете истории русской культуры / Отв. ред. В. М. Живов, Ю. В. Кагарлицкий. – М.: Языки славянских культур, 2012. – С. 7 – 23.
194. *Харченко, В. К.* Взаимодействие коннотативных признаков, созначений в семантике слова / В. К. Харченко // Лексические и грамматические компоненты в семантике языкового знака: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. З. Д. Попова. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1983. – С. 47 – 52.
195. *Харченко, В. К.* Разграничение оценочности, образности, экспрессивности и эмоциональности в семантике слова / В. К. Харченко // Русский язык в школе. – 1976, № 3. – С. 66 – 71.
196. *Химик, В. В.* Поэтика низкого, или Просторечие как культурный феномен / В. В. Химик. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2000. – 272 с.
197. *Цоллер, В. Н.* Экспрессивная лексика: семантика и прагматика / В. Н. Цоллер // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. – 1996, № 6. – С. 62 – 71.

198. *Чекулай И. В.* Ценность и оценка в категориальной структуре современного английского языка: автореф. ... дисс. канд. филол. наук: 10.02.04 / Чекулай Игорь Владимирович. – Белгород, 2016. – 41 с.
199. *Чудинов, А. П.* Политическая лингвистика / А. П. Чудинов. – М.: Флинта, Наука, 2006. – 256 с.
200. *Шаховский, В. И.* Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В. И. Шаховский. – М.: URSS Изд-во ЛКИ, 2008. – 204 с.
201. *Шведова, Н. Ю.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи / Н. Ю. Шведова. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 377 с.
202. *Шейгал, Е. И., Желтухина, М. Р.* Фрейм «Политик»: серьезное и комическое / Е. И. Шейгал, М. Р. Желтухина // Когнитивные аспекты языковой категоризации: сб. науч. тр. / Отв. ред. Л. А. Манерко. – Рязань, РГПУ им. С. А. Есенина, 2000. – 368 с.
203. *Шелякин, М. А.* О семантике и употреблении неопределенных местоимений в русском языке / М. А. Шелякин // Семантика номинации и семиотика устной речи. Учен. Зап. Тартуского ун-та. Вып. 442. – 1978.– С. 3 – 22.
204. *Шишков, А. С.* Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова. В 2 т. Т. 1 / А. С. Шишков. – Berlin: V. Behr's Buchhandlung, 1870. – 421 с.
205. *Шмелев, Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики / Д. Н. Шмелев. – М.: Наука, 1973. – 278 с.
206. *Шмелькова, В. В.* Сущность процесса лексической деархаизации в современном русском литературном языке: автореф. ... док. филол. наук: 10.02.01 / Шмелькова Вера Викторовна. – М., 2010. – 33 с.
207. *Шпильрейн, И. Н., Рейтынбарг, Д. И., Нецкий, Г. О.* Язык красноармейца. Опыт исследования словаря красноармейца Московского гарнизона / И. Н. Шпильрейн, Д. И. Рейтынбарг, Г. О. Ненецкий. – М., Л.: ГИЗ, 1928. – 192 с.

208. *Эволюция понятий* в свете истории русской культуры: Сб. статей / Отв. ред. В. М. Живов, Ю. В. Кагарлицкий. – М.: Языки славянских культур, 2012. – 328 с.
209. *Яковлева, Е. Б.* Просодия атрибутивной синтагматики / Е. Б. Яковлева // *Современные проблемы английской филологии: сб. науч. тр. – Вып.570.* Ташкент: Изд-во ТГУ им. В.И. Ленина, 1978. – С. 33 – 43.
210. *Яцковская, Г. В.* Противоположные оценочные компоненты в семантике одного слова / Г. В. Яцковская // *Прагматика слова: межвуз. сб. научных трудов / Отв. ред. В. Д. Девкин.* – М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1985. – С. 40 – 48.
211. *Cracraft, J.* The Petrine Revolution in Russian Culture / *J. Cracraft.* – Cambridge (Mass.) – London: The Belknap Press: Harvard University Press, 2004. – 560 p.
212. *Puzynina J.* Słowo – wartość – kultura / J. Puzynina. – Lublin: T-wo nauk. Katolickiego uniwersytetu lubelskiego, 1997. – 478 str.
213. *Puzynina J.* Kłopoty z nazwami wartości (I wartościami) / J. Puzynina // *Etnolingwistyka* 26. – Lublin, 2014. – Str. 7 – 20.